

TEMPUS
ET
MEMORIA

TEMPUS ET MEMORIA

Журнал основан в 2006 г.
Выходит 2 раза в год

Учредитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19

Издатель: Издательство Уральского университета, 620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-79281 от 02 октября 2020 г.

Журнал индексируется в БД: Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

Мы представляем единственный в России журнал, который специализируется на проблемах изучения социальной, исторической, культурной памяти и социальной темпоральности. В журнале печатаются статьи по философии, политологии и истории. Материалы представлены в рубриках по проблемам, разработка которых требует совместных усилий философов, историков и политологов. Редакционная политика «Tempus et Memoria» строится на принципах научного плюрализма: позиция авторов журнала не обязательно отражает точку зрения редколлегии. Редакция журнала стремится соответствовать строгим критериям научности, все материалы проходят двойное слепое рецензирование. К рецензированию и печати принимаются материалы на русском и английском языках. Особое внимание уделяется участию молодых перспективных исследователей — аспирантов или соискателей. Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе.

E-mail: tempusetmemoria@urfu.ru

Сайт: tempusetmemoria.ru

Адрес редакции: 620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51, к. 319, «Tempus et Memoria»

© Уральский федеральный университет, 2022

TEMPUS ET MEMORIA

The Journal was founded in 2006
Published two times per year

Founded by Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin
19, Mira Str., 620002 Yekaterinburg, Russia

Publisher: Ural University Press
4, Turgenev Str., 620000 Yekaterinburg, Russia

The Journal is registered by the Federal Service for Supervision of Communications,
Information Technology, and Mass Media. Mass media registration certificate EL FS77-79281
as of October 02, 2020

The Journal is indexed in: Science Index (eLibrary)

The journal publishes articles on philosophy, history and political science. The materials are presented under the headings on problems, the development of which requires the joint efforts of philosophers, historical and political scientists. The editorial policy of «Tempus et Memoria» is based on the principles of scientific pluralism: the position of the authors of the journal does not necessarily reflect the point of view of the editorial board. The editors of the journal strive to meet strict criteria for scientificity, all materials undergo double-blind peer review. Materials in Russian and English are accepted for review and printing. Particular attention is paid to the participation of young promising researchers — graduate students or applicants. Publications in the journal are carried out on a non-commercial basis.

Email: tempusetmemoria@urfu.ru
tempusetmemoria.ru

Editorial Office Address: 51, Lenin Ave., 620000 Yekaterinburg, Russia
Tempus et Memoria

© Ural Federal University, 2022

Главный редактор

О. В. Головашина, д. ф. н. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

Ответственный секретарь

Е. С. Лебедь (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

Редакторы разделов

А. А. Линченко, к. ф. н. (Россия, Липецк, Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ) — редактор раздела по философии

А. И. Миллер, д. и. н. (Россия, Санкт-Петербург, Европейский университет в Санкт-Петербурге) — редактор раздела по политологии

К. Д. Бугров, д. и. н. (Россия, Екатеринбург, Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук) — редактор раздела по истории

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

М. Г. Агапов, д. и. н. (Россия, Тюмень, Тюменский государственный университет)

Д. А. Аникин, к. ф. н. (Россия, Москва, Московский государственный университет)

Е. В. Беляева, к. ф. н. (Беларусь, Минск, Белорусский государственный университет)

А. Г. Васильев, к. и. н. (Россия, Москва, Высшая школа экономики)

И. О. Дементьев, к. и. н. (Россия, Калининград, Балтийский федеральный университет)

Д. В. Ефременко, д. п. н. (Россия, Москва, Институт научной информации по общественным наукам РАН)

Е. Махотина, PhD (Германия, Бонн, Рейнский университет Фридриха Вильгельма в Бонне)

А. С. Меньшиков, к. ф. н. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

А. В. Михалев, д. п. н. (Россия, Улан-Удэ, Бурятский государственный университет)

М. М. Мчедлова, д. п. н. (Россия, Москва, Российский университет дружбы народов)

Ф. В. Николаи, д. ф. н. (Россия, Нижний Новгород, Мининский университет)

И. О. Пешков, PhD (Польша, Познань, Университет им. Адама Мицкевича)

О. С. Поршнева, д. и. н. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

М. Е. Соболева, д. ф. н. (Австрия, Клагенфурт, Альпийско-Адриатический университет Клагенфурта)

Е. О. Труфанова, д. ф. н. (Россия, Москва, Институт философии Российской академии наук)

Е. С. Черепанова, д. ф. н. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

А. И. Миллер, д. и. н. (Россия, Санкт-Петербург, Европейский университет в Санкт-Петербурге) (**председатель**)

Ш. Бергер, PhD (Германия, Бохум, Рурский университет в Бохуме)

В. А. Кокшаров, к. и. н. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

М. Ларюэль, PhD (США, Вашингтон, Университет Джорджа Вашингтона)

Н. А. Ломагин, д. и. н. (Россия, Санкт-Петербург, Европейский университет в Санкт-Петербурге)

О. Ю. Малинова, д. ф. н. (Россия, Москва, Высшая школа экономики)

Т. Л. Никодемо, PhD (Бразилия, Сан-Паулу, Университет Кампинас)

Л. Ноймайер, PhD (Франция, Париж, Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна)

Л. П. Репина, д. и. н. (Россия, Москва, Институт всеобщей истории Российской академии наук)

Р. Саква, PhD (Великобритания, Кентербери, Кентский университет)

В. Н. Сыров, д. ф. н. (Россия, Томск, Томский государственный университет)

Б. Тренченьи, PhD (Венгрия, Будапешт, Центральный Европейский университет)

М. Б. Хомяков, д. ф. н. (Кыргызстан, Бишкек, Университет Центральной Азии)

Дизайн обложки — Ольга Язовская

Editor-in-Chief

O. V. Golovashina, PhD (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

Managing Editor

E. S. Lebed (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

Partition editor

A. Linchenko, PhD (Russia, Lipetsk, Financial University under the Government of the Russian Federation), Philosophy Section Editor

A. Miller, PhD (Russia, St. Petersburg, European University at St. Petersburg), Political Science Section Editor

K. Bugrov, (Russia, Yekaterinburg, Institute of History and Archeology of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences), History Section Editor

EDITORIAL BOARD

M. Agapov, PhD (Russia, Tumen, University of Tyumen)

D. Anikin, PhD (Russia, Moscow, Moscow State University)

E. Belyaeva, PhD (Belarus, Minsk, Belarusian State University)

E. Cherepanova, PhD (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

I. Dementev, PhD (Russia, Kaliningrad, Immanuel Kant Baltic Federal University)

D. Efremenko, PhD (Russia, Moscow, Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences)

E. Makhotina, PhD (Germany, Bonn, University of Bonn)

M. Mchedlova, PhD (Russia, Moscow, RUDN University)

A. Menshikov, PhD (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

A. Mikhalev, PhD (Russia, Ulan-Ude, Buryat State University)

F. Nikolai, PhD (Russia, Nizhny Novgorod, Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University)

I. Peshkov, PhD (Poland, Poznan, Adam Mickiewicz University in Poznan)

O. Porshneva, PhD (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

M. Soboleva, PhD (Austria, Klagenfurt, University of Klagenfurt)

E. Trufanova, PhD (Russia, Moscow, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences)

A. Vasilyev, PhD (Russia, Moscow, National Research University Higher School of Economics)

EDITORIAL COUNCIL

A. Miller, PhD (Russia, St. Petersburg, European University at St. Petersburg) (**Chairman**)

S. Berger, PhD (Germany, Bochum, Ruhr University Bochum)

M. Homyakov, PhD (Kyrgyzstan, Naryn, University of Central Asia)

V. Koksharov, PhD (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

M. Laruelle, PhD (USA, Washington, George Washington University)

N. Lomagin, PhD (Russia, St. Petersburg, European University at St. Petersburg)

O. Malinova, PhD (Russia, Moscow, National Research University Higher School of Economics)

T. Nicodemo, PhD (Brazil, São Paulo, University of Campinas)

L. Neumayer, PhD (France, Paris, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

L. Repina, PhD, corresponding member of the Russian Academy of Sciences (Russia, Moscow, Institute of World History, Russian Academy of Sciences)

R. Sakwa, PhD (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canterbury, University of Kent at Canterbury)

V. Syrov, PhD (Russia, Tomsk, Tomsk State University)

B. Trencsényi, PhD (Hungary, Budapest, Central European University)

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

ПАМЯТЬ В ПУБЛИЧНОМ ДИСКУРСЕ

- Белов С. И.**
Влияние историографии и общественного дискурса об убийстве семьи Николая II на содержание видеоигр с историческим сюжетом..... 6
- Андрисенко С. А.**
Особенности региональных коммеморативных проектов в цифровой среде (на примере проектов о Великой Отечественной войне) 16
- Цельковский А. А.**
Политический миф как элемент политики памяти 23

ПАМЯТЬ И ИДЕНТИЧНОСТЬ

- Линченко А. А.**
«Мы сами — время»: динамика времени и смысл прошлого в нарративах семейной памяти. Часть II 29
- Зевако Ю. В.**
Память и идентичность на пограничье: переинтерпретация пространства 46
- Корнющенко-Ермолаева Н. С.**
А. Мегилл: опасность сакрализации памяти 55

MEMORY IN PUBLIC DISCOURSE

- Belov S. I.**
The Influence of Historiography and Public Discourse on the Murder of the Family of Nicholas II on the Content of Historical Video Games..... 6
- Andrisenko S. A.**
Features of Regional Commemorative Projects in Digital (on the Example of Projects about the Great Patriotic War)..... 16
- Tselykovskiy A. A.**
Political Myth as an Element of the Politics of Memory 23

MEMORY AND IDENTITY

- Linchenko A. A.**
“We are the Time”: the Dynamics of Time and the Sense of the Past in the Narratives of the Family Memory. Part II..... 29
- Zevako Yu. V.**
Memory and Identity on the Borderland: Reinterpretation of Space..... 46
- Kornyushchenko-Ermolaeva N. S.**
A. Megill: the Danger of Sacralizing Memory 55

Научная статья

УДК 929 Николай(470)*II + 930.2 + 929.52 + 343.611.1 + 79:004.353 + 070.16

doi 10.15826/tetm.2022.3.026

Влияние историографии и общественного дискурса об убийстве семьи Николая II на содержание видеоигр с историческим сюжетом

Сергей Игоревич Белов

Московский государственный университет, Москва, Россия

Belov2006s@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1464-040X>

Аннотация. Исследование посвящено теме влияния историографии убийства семьи Николая II и порожденного ею дискурса на образы в исторических видеоиграх. В качестве конкретного исследовательского кейса нами выбрана игра *Assassin's Creed Chronicles: Russia*. Методология работы построена на комбинации сравнительного и структурного анализа. Эмпирическая база исследования фундирована за счет привлечения оригинального игрового контента и редкой литературы, в том числе работ представителей белой эмиграции. Автор приходит к заключению, что создатели игры использовали в качестве первоосновы сюжета произведения ряд историографических концепций, предполагающих причастность к цареубийству тайных обществ глобального характера. Однако они отказались обращаться к таким элементам «конспирологических» направлений в историографии, как ритуальный характер преступления, заинтересованность внешних акторов в уничтожении Российской империи, а также связанных с нею моделей социально-экономического и культурного развития. Последнее объяснялось в первую очередь маркетинговыми соображениями, структурой целевой аудитории и стремлением избежать обвинений в разжигании антисемитизма.

Ключевые слова: Николай II, царская семья, убийство, конспирология, видеоигры, «*Assassin's Creed Chronicles: Russia*»

Для цитирования: Белов С. И. Влияние историографии и общественного дискурса об убийстве семьи Николая II на содержание видеоигр с историческим сюжетом // *Tempus et Memoria*. 2022. Т. 3, № 1. С. 6–15. doi 10.15826/tetm.2022.3.026

Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова в рамках научного проекта «Видеоигры как новый ресурс политики памяти: конструирование коллективного образа прошлого в формате популярной культуры». Исследование проведено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового культурно-исторического наследия».

© Белов С. И., 2022

Original article

The Influence of Historiography and Public Discourse on the Murder of the Family of Nicholas II on the Content of Historical Video Games

Sergey I. Belov

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Belov2006s@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1464-040X>

Abstract. This study is devoted to the influence of the historiography of the murder of the family of Nicholas II and the discourse generated by it on images in historical video games. We have chosen Assassin's Creed Chronicles: Russia as a specific research case. The methodology of the work is built through a combination of comparative and structural analysis. The empirical base of the study is funded by attracting original game content and rare literature, including the works of representatives of the white emigration. The author comes to the conclusion that the creators of the game used a number of historiographic concepts as the primary basis for the plot of the work, suggesting the involvement of secret societies of a global nature in the regicide. However, they refused to address such elements of "conspiracy" trends in historiography, such as the ritual nature of the crime, the interest of external actors in the destruction of the Russian Empire, as well as the models of socio-economic and cultural development associated with it. The latter was primarily due to marketing considerations, the structure of the target audience and the desire to avoid accusations of inciting anti-Semitism.

Key words: Nicholas II, royal family, murder, conspiracy theories, video games, "Assassin's Creed Chronicles: Russia"

For citation: Belov, S. I. (2022). Vliyanie istoriografii i obshchestvennogo diskursa ob ubiistve sem'i Nikolaya II na sodержanie videoigr s istoricheskim syuzhetom [The Influence of Historiography and Public Discourse on the Murder of the Family of Nicholas II on the Content of Historical Video Games]. *Tempus et Memoria*, 3, 1. 6–15. doi 10.15826/tetm.2022.3.026

Acknowledgments: The study was financially supported by the Faculty of Political Science of Lomonosov Moscow State University as part of the research project "Video games as a new resource for the politics of memory: constructing a collective image of the past in the format of popular culture"; This research has been supported by the Interdisciplinary Scientific and Educational School of Moscow University "Preservation of the World Cultural and Historical Heritage".

Введение. Традиционно историография изучается преимущественно в ключе анализа системы научного знания. Ее влияние на представления о коллективном прошлом исследуется по остаточному принципу. И в первую очередь это касается воздействия историографических концепций на развитие новых форматов массовой культуры.

Последние не просто способствуют популяризации исторического знания, но и задают границы мемориальных рамок, в пределах которых макросоциальные субъекты коллективно закрепляют в общественной памяти, предают забвению либо подвергают ценностно-смысловой маркировке определенные исторические сюжеты.

В дальнейшем сформированные мемориальные режимы влияют уже на восприятие профессиональных историков, часть которых, вопреки принципу объективности, интерпретирует источниковый материал сквозь призму усвоенной ранее системы ценностей и взглядов на определенные «фигуры памяти», наделенные обществом символическим значением.

Последнее закономерно порождает у сообщества профессиональных историков запрос на изучение закономерностей воздействия историографических концепций на отображение событий прошлого в массовой культуре и в первую очередь в рамках ее новых и наиболее перспективных форматов. Наиболее значимым является вопрос об их влиянии

на сферу культурной памяти в контексте сюжетов, используемых в качестве точки консенсуса либо фактора раскола в рамках мемориального позиционирования.

В рамках представленного исследования изучению подвергнут конкретный кейс — влияние историографических концепций на отображение убийства семьи Николая II в одной из наиболее популярных игровых франшиз — *Assassin's Creed*.

Материалы и методы. Источниковая база исследования сформирована за счет обращения к контенту игры *Assassin's Creed Chronicles: Russia*. В рамках подготовки работы также использовались дореволюционная литература, посвященная национальной политике властей Российской империи, и эмигрантские издания, опубликованные в период 1920–1930-х гг.

Методология работы выстраивается в порядке сочетания элементов сравнительного и структурного анализа. Применение сравнительного анализа позволило сопоставить историческую мифологию игры и связанные с ней тематически историографические концепции в рамках развития последних. Структурный анализ дал возможность выделить системно значимые элементы как образа прошлого, сформированного геймдизайнерами, так и историографических концепций, связанных с ритуально-конспирологическими трактовками обстоятельств убийства царской семьи.

Обсуждение. Представленное исследование было выполнено единолично сотрудником Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова — С. И. Беловым.

Приступая к обзору историографии темы, необходимо отметить, что в его рамках не были освещены исследования, авторы которых так или иначе не упоминают версии убийства царской семьи в результате заговора тайных организаций либо ритуального характера преступления. Последнее обусловлено спецификой сюжета рассматриваемой игры.

Длительное время тема убийства Николая II и членов его семьи освещалась преимущественно в работах авторов-эмигрантов, большая часть которых заявляли о наличии в преступлении ритуальных элементов и возлагали ответственность за его организацию на тайные структуры, предположительно связанные с ортодоксальными иудаистами

[Дитерихс; Скарятин; Соколов; Якобий; Wilton; Пагануцци].

В советской историографии тема почти не разрабатывалась из идеологических соображений, а концепции авторов-мигрантов не изучались даже в ключе разоблачения антисемитских стереотипов. Выходившие в свет исследования, напрямую или косвенно затрагивавшие соответствующую проблематику, выстраивались вокруг тезиса об исключительно политической мотивации преступления [Иоффе; Касвинов].

В современный период вышло большое количество работ, посвященных интересующему нас вопросу. Тема убийства царской семьи рассматривалась и как самостоятельный предмет изучения [Анохина; Багдасарян, Реснянский; Борисенко; Жук; Латышев; Платонов 1991], и в контексте истории «красного террора» [Будницкий; Булдаков; Варфоломеев], и в рамках общего контекста политической биографии последнего императора [Боханов].

В то же время необходимо отметить, что для современного этапа в изучении темы характерен высокий уровень влияния профессиональных исследователей, интерпретирующих соответствующие события сквозь призму личных религиозных и политических предпочтений, что негативно отображается на общем уровне объективности опубликованных работ [Зымонт; Кураев; Мультатули 2016; Платонов 2015; Фомин; Корн 2012].

Результаты. Крптоисторическая версия событий, связанных с убийством царской семьи, подается в рамках игры *Assassin's Creed Chronicles: Russia* (2016 год) в мистическом контексте. Историческая мифология данной игровой вселенной предполагает, что весь ход мировой истории определен противостоянием двух тайных обществ, условно обозначенных как Ассасины и Тамплиеры. Последние соперничают между собой в рамках борьбы за артефакты Предтеч – высокоразвитой цивилизации, населявшей землю до появления человека разумного.

Согласно нарративу игровой вселенной капитализм представляет собой результат операций в области социального инжиниринга, предпринятых Тамплиерами. Крупные социально-политические революции, начиная

с событий во Франции в 1789 г., инициированы именно этой тайной организацией.

В то же время отмечается, что отдельные революционные организации были сформированы противниками Тамплиеров — Ассасинами. В числе политических проектов данного общества упоминается в том числе «Народная воля». Главный герой игры (персонаж по имени Николай Орлов) является бывшим народовольцем, другом А. И. Ульянова и его младшего брата В. И. Ленина.

Впрочем, революционные структуры, подконтрольные Ассасинам, позиционируются в более гуманистическом ключе. В частности, главный герой осуждает убийство членов семьи Николая II и подчеркивает, что народovolьцы якобы выступали против убийства детей—представителей правящей династии (рис. 1).

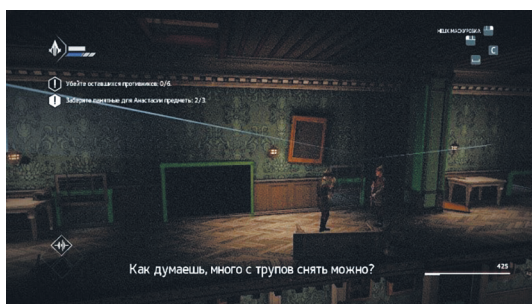


Рис. 1. Диалог красноармейцев о судьбе тел царской фамилии на месте убийства

Мотивы действий представителей обеих ведущих фракций игры связаны преимущественно со стремлением обрести контроль над предметами, оставшимися от цивилизации Предтеч. Так, Г. Распутин, согласно исторической мифологии игры, представлял собой агента Тамплиеров, пытался завладеть артефактом «Посох Эдема», использованным для создания скипетра российских императоров (рис. 2).

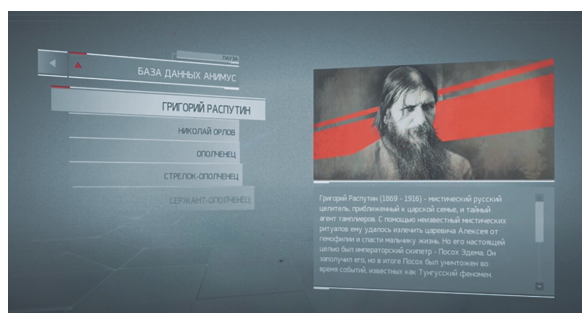


Рис. 2. Игровая биография Г. Распутина

Убийство царской семьи и последующее преследование якобы выжившей великой княжны Анастасии мотивируется в первую очередь стремлением тайных обществ завладеть некой шкатулкой, принадлежавшей родным последнего императора. Впрочем, интересы заговорщиков периодически пересекаются с планами публичных политических сил. В частности, Л. Д. Троцкий подчеркивает, что члены семьи Николая II представляют собой опасность как символ, потенциально способный выступить в качестве основы для консолидации контрреволюционных сил.

Большевики в рамках сюжета игры в значительной степени контролируются Тамплиерами через представителей агентуры тайного общества. Однако РСДРП(б) не является их прямой креатурой и представляет собой самостоятельную политическую силу. Л. Д. Троцкий (друг Николая Орлова) осведомлен о существовании тайных обществ и пытается использовать вражду Ассасинов и Тамплиеров «в интересах революции».

От конспирологических теорий, распространенных в историографии, историческую мифологию игры отличает в первую очередь наднациональный и внеконфессиональный характер тайных организаций. Также легенда игры не предусматривает наличие у организаторов и исполнителей убийства царской семьи целей, связанных с изменением геополитического положения или вектора социально-экономического и культурного развития России либо всего человечества.

Равным образом для них не характерно наличие мистической составляющей. Все элементы игрового нарратива, связанные с якобы сверхъестественными явлениями, объясняются воздействием технологий сверхразвитой цивилизации. Таким образом, в рамках вселенной Assassin's Creed Chronicles: Russia речь идет скорее об имитации магии. Помимо того вовлеченными в исторический процесс тайными обществами движут рациональные мотивы, не связанные с воплощением в жизнь каких-либо морально-ценностных ориентиров.

Наиболее ярким примером в данном случае выступает отсутствие у факта убийства царской семьи эмоциональной мотивации и ритуального характера (со стороны организаторов).

Создатели игры игнорируют большинство символических элементов, связанных в историографии темы с указаниями на возможно ритуальный характер убийства царской семьи. Цитата из стихотворения Г. Гейне «Валтасар», цифровые записи или псевдокаббалические символы на стенах дома отсутствуют среди элементов интерьера. Сюжет игры не предполагает расчленения тел членов царской семьи (включая отсечение голов), ритуального обривания им голов перед убийством или смешения тел жертв с трупами собак, а также иных образов, присутствующих в работах авторов, отстаивающих ритуальный характер убийства.

Большевики, в рамках исторической мифологии игры, руководствуются политическими мотивами, рассматривая императорскую семью как фактор развития боевых действий на Восточном фронте. Точнее, заинтересованность непосредственно в ликвидации членов царской семьи в рамках сюжета игры проявляет лишь Л. Д. Троцкий, поскольку для него они выступают в качестве живых символов, способных консолидировать и мобилизовать силы контрреволюции.

Представителей тайных организаций так же мало интересует судьба монаршей фамилии: их привлекают лишь артефакт Предтеч, скрытый в Ипатьевском доме, и свойства, обретенные от контакта с ним великой княжной Анастасией.

Оценка степени влияния историографии на мемориальный нарратив игры предполагает необходимость обращения к анализу не просто степени изученности темы, но интерпретации в ее рамках вопроса о возможности ритуального либо конспирологического характера преступления.

Конспирологическая версия убийства царской семьи начала формироваться еще на ранних этапах развития зарубежной (эмигрантской) историографии темы. В работах Р. А. Вильтона, М. К. Дитерихса, М. П. Скарятин (Энеля) и И. П. Якобия была изложена ритуальная версия преступления, в рамках которой в роли его заказчиков и исполнителей выступили этнические евреи [Дитерихс; Скарятин; Якобий; Wilton].

Данная концепция основывалась на синтезе двух антисемитских мифологем. Первая

из них носила «традиционный» для европейской культуры характер. Речь идет о ложно приписываемых иудаистам ритуалах, предполагающих человеческие жертвоприношения. Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на средневековые корни, данный стереотип активно бытовал среди широких слоев населения даже в начале XX в. В качестве наглядного подтверждения данного тезиса можно привести широко известное «дело Бейлиса». Указанная мифологема была рассчитана преимущественно на разжигание вражды между иудаистами и христианами, поскольку выстраивалась на утверждении об обязательной профессиональной идентичности жертв ритуала [Вортман, 239; Гессен, 25; Зайончковский, 68; Кисляков, 139; Миллер, 334; Сосновских, 205; Толстой, Гессен, 54–57].

Вторая мифологема описывала этнических евреев как основную движущую силу революционного движения, главных интересантов свержения монархии и наиболее влиятельную фракцию внутри руководства большевиков. При этом предполагалось, что еврей-революционеры действовали в рамках негласного альянса с представителями банковского капитала США, принадлежавшими к той же этнической группе [Бирюкович, 12; Гильфердинг, 57; Гредескул, 48; Дякин, 137; Левин, 31; Платонов 2005, 104].

В дальнейшем версия ритуального убийства царской семьи при участии тайных организаций длительное время бытовала преимущественно на уровне публицистической традиции в Русской православной церкви за рубежом. Она в целом оставалась маргинальной, но ее сторонники находили поддержку среди отдельных церковных иерархов (среди них можно упомянуть архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского Иоанна, архиепископа Сиракузского и Троицкого Аверкия, а также епископа Сиэтлского Нектария).

Однако на поздних этапах холодной войны версия ритуального убийства царской семьи по решению представителей тайного общества, контролировавшего партию большевиков, вновь начала активно продвигаться в антикоммунистическом ключе в эмигрантской историографии. В 1981 г. П. Пагануцци была опубликована монография «Правда об убийстве царской семьи», переизданная в РСФСР

в 1991 г. В данной работе историк, в частности, воспроизводит приведенную в брошюре Энеля «Жертва» интерпретацию символов, обнаруженных в доме Ипатьева на подоконнике в комнате, в которой происходило убийство императора и членов его семьи. («Здесь, по приказанию темных сил, царь был принесен в жертву для разрушения государства. О сем извещаются все народы») [Пагануцци].

Появление новых исследований в рамках концепции ритуального характера убийства царской семьи закономерно вызвало активизацию сторонников противоположной точки зрения. В 1990 г. в Иерусалиме в свет вышла монография М. Хейфеца «Цареубийство в 1918 году. Версия преступления и фальсифицированного следствия». Автор сумел доказать на основе архивных материалов, что этнические евреи играли второстепенную роль в организации и исполнении преступления.

В начале постсоветского периода ритуальный характер убийства и причастность к нему отрицались на научном и научно-популярном уровне. Так, в 1993 г. публицист Э. Радзинский вернулся к вопросу об участии этнических евреев в убийстве царской семьи. В рамках сделанных выводов он отметил, что действия евреев-революционеров не носили ритуального характера. Более того, они были выстроены в рамках мотивации светской и интернационалистической идеологии большевиков. В двухтомной научной монографии Д. А. Волкогонова «Ленин», опубликованной в 1994 г., также отстаивался тезис о том, что цареубийство было организовано руководством большевистской партии на основе политических мотивов. Ритуальный характер преступления и причастность к его организации неких тайных обществ автор рассматривал как исключительно маргинальные точки зрения [Волкогонов].

Следующим значимым этапом в развитии «конспирологической» и «ритуальной» версий убийства императорской семьи стало уголовное дело, возбужденное в первой половине 1990-х гг. В его рамках прокурором В. Н. Соловьевым было проведено отдельное источниковедческое исследование в отношении архивных материалов, имеющих отношение к убийству семьи Николая II и захоронению их останков. По результатам проведенных изысканий

эксперт пришел к выводу об отсутствии у преступления ритуальной составляющей.

Позднее Р. Г. Пихоя, выступая в качестве эксперта правительственной комиссии (известной также как комиссия Ярова — Немцова), выразил согласие с данной точкой зрения. Им был проведен анализ источников, содержащих упоминания о ритуальном характере преступления. В итоге исследователь пришел к выводу о наличии в их текстах множества грубых фактических ошибок, свидетельствующих о низкой степени осведомленности создателей источников и пропагандистском характере последних.

В общих выводах группы экспертов-историков, действовавшей при правительственной комиссии, также нашел отражение тезис о том, что экзекуция семьи последнего императора носила характер политического убийства. Наличие ритуальных элементов в преступлении отрицалось, равно как и наличие влияния каких-либо тайных организаций [Багдасарян, Реснянский, 39].

В 1990-х гг. данная точка зрения господствовала как в российской, так и в зарубежной историографии, а также на уровне фольк-истории. В 1998 г. в Австралии вышло исследование потомка российских эмигрантов Л. Миллер «Царская Семья — жертва темной силы». Концепция исследователя выстроена в ключе сугубо негативного позиционирования большевиков, однако автор придерживается мнения, что убийство царской семьи не носило ритуального характера [Миллер 1998].

В опубликованной в 2005 г. монографии американских историков Г. Кинга и П. Вильсона «Романовы. Судьба царской династии» авторы не только отрицают ритуальный характер преступления, но и ставят под сомнение причастность к его организации руководства большевистской партии [Кинг, Вильсон].

Вплоть до 2017 г. версия ритуального убийства царской семьи оставалась маргинализированной в рамках научного дискурса. Рамки ее распространения ограничивались преимущественно работами церковных публицистов, пишущих на историческую тематику. В качестве примера произведений данного плана можно привести книги В. Корна, например, работу «По приказу тайных сил» [Корн 2009; Корн 2012]. Данные публикации нельзя охарактеризовать как научные или

научно-популярные, однако они активно распространяются на региональном или локальном уровне в зависимости от личной позиции местных церковных иерархов.

Однако затем стало известно, что этот вариант рассматривается следственными органами в качестве одной из рабочих версий. Эта информация была раскрыта в рамках работы проходившей 27 ноября 2017 г. конференции «Дело об убийстве царской семьи: новые экспертизы и архивные материалы».

В пользу наличия у ритуально-конспирологической концепции реальных оснований выступили не только Тихон Шевкунов (на тот момент — епископ Егорьевский), но и профессиональные историки — П. Мультиатули, С. Фомин и О. Платонов [Мультиатули 2006; Мультиатули 2013; Мультиатули 2016; Платонов 2015; Фомин].

Необходимо отметить, что в обновленной редакции представления о ритуальном и конспирологическом характере преступления претерпели существенные изменения.

Во-первых, заметно сократилась доля репрезентации антисемитских стереотипов (большинство авторов решительно опровергают причастность к произошедшему ортодоксальных иудаистов). Впрочем, некоторые публицисты все же пытаются возложить ответственность за произошедшее на хасидов [Мультиатули 2016, 14; Платонов 2015, 72; Фомин, 17; Корн 2012, 45].

Во-вторых, появилось множество вариантов позиционирования организаторов убийства и их движущих мотивов. В этом качестве в ряде случаев обозначены представители глобальной финансовой и управленческой элиты, якобы рассматривавшие Россию как главное препятствие на пути изменения модели социокультурного и экономического развития человечества. Также среди возможных организаторов преступления упоминают спецслужбы Великобритании, Германии и Франции, якобы действовавшие в интересах закрытых клубов истэблишмента и тайных обществ, объединяющих глобальные элиты. Ряд авторов указывают в качестве заказчиков преступления американских банкиров из США, принадлежавших к числу этнических евреев (но отрицают религиозно-ритуальный характер убийства). В отдельных работах доказывается связь убийц

с «германскими иллюминатами». Создатели некоторых публикаций обозначают убийц как представителей неорелигиозных движений либо групп оккультистов. Ряд исследователей настаивают на том, что большевики фактически представляли собой неорелигиозное движение, что якобы проявлялось в их символической политике.

Отдельного внимания заслуживает версия «заговора инородцев»: организаторами и исполнителями преступления, по мнению ее сторонников, выступали представители различных национальных меньшинств. При этом, по не вполне понятным причинам, был сделан акцент на причастности к преступлению большого числа этнических венгров. В том числе участие в убийстве приписывали будущему премьер-министру Венгерской Народной Республики И. Надю [Багдасарян, Реснянский, 41].

В. Э. Багдасарян выработал классификацию «теории заговора против царской семьи» на основе выделения акторов, выделив в итоге восемь вариаций позиционирования организаторов убийства:

- «религиозный заговор»;
- «геополитический заговор»;
- «этнический заговор»;
- «финансовый заговор»;
- «заговор социальных маргиналов и аутсайдеров»;
- «заговор бюрократических и клановых структур»;
- «психобиологический заговор»;
- «масонский заговор» (при этом данная форма соотносится со всеми упомянутыми выше) [Там же, 43].

Заключение. Таким образом, создатели игры позаимствовали из историографии темы элементы, касающиеся возможной причастности к убийству царской семьи тайных обществ глобального уровня, стремящихся определить модель социально-экономического и культурного развития человечества.

Однако по сюжету игры конечная цель данных структур не была напрямую связана с ликвидацией Российской империи и убийством ее последнего монарха. Преступление было необходимо лишь в контексте задачи овладения артефактами, принадлежавшими семье Романовых.

Равным образом в историческом нарративе игры отсутствуют отсылки к ритуальному характеру убийства членов императорской фамилии или принадлежности преступников к религиозным либо этническим группам.

Отказ от подобного позиционирования вероятнее всего обусловлен соображениями маркетинга. Игра как коммерческий продукт была рассчитана в первую очередь на продвижение в рамках рынков Северной Америки, Европы и Восточной Азии. И ее создатели были

вынуждены учитывать присущие их жителям представления об историческом процессе и о модели ценностей. Одновременно геймдизайнерам было необходимо избежать обвинений в разжигании антисемитизма.

Соответственно историография темы убийства царской семьи оказала ощутимое влияние на игровой контент, однако в него вошли лишь отдельные ее элементы, способствующие решению чисто коммерческих задач.

Список источников

- Анохина Е. В. К вопросу об исполнителях убийства царской семьи // Наука через призму времени. 2019. № 4 (25). С. 20–22.
- Багдасарян В. Э., Реснянский С. И. Версия о «ритуальном убийстве» царской семьи в исторической литературе и общественном дискурсе // Вопр. истории. 2018. № 3. С. 35–48.
- Бирюкович В. В. Политическое и экономическое положение евреев в России // Русское богатство. 1883. № 12. С. 655–690.
- Борисенок Ю. Как не убивали Романовых // Родина. 2020. № 1. С. 112–115.
- Боханов А. Н. Последний царь. М. : Вече, 2006. 506 с.
- Будницкий О. В. «Кровь по совести»: терроризм в России. Вторая половина XIX — начало XX в. // Отечественная история. 1994. № 6. С. 203–209.
- Булдаков В. П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М. : РОССПЭН, 1997. 373 с.
- Варфоломеев Ю. В. «Русский способ»: феномен революционного терроризма в России начала XX в. // Рос. ист. журн. 2008. № 2. С. 3–51.
- Волкогонов Д. Ленин. Политический портрет : в 2 кн. Кн. 1. М. : Новости, 1994.
- Вортман Р. «Официальная народность» и национальный миф российской монархии XIX века // РОССИЯ / RUSSIA. Вып. 3 (11) : Культурные практики в идеологической перспективе. М. : ОГИ, 1999. С. 233–244.
- Гессен Ю. И. Евреи в России. Очерки общественной, правовой и экономической жизни русских евреев. СПб., 1906. 471 с.
- Гильфердинг А. Ф. Россия и ее инородческие окраины на западе // Россия и славянство. М. : Ин-т рус. цивилизации, 2009. С. 278–295.
- Гредескул Н. А. Террор и охранка. СПб. : тип. т-ва «Обществ. польза», 1912. 35 с.
- Дитерихс М. К. Убийство царской семьи и членов дома Романовых на Урале. Владивосток : Военная академия, 1922.
- Дякин В. С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX в.) // Вопр. истории. 1995. № 9. С. 130–142.
- Жук Ю. А. Вопросительные знаки в «царском деле». М. : Директ медиа, 2014. 639 с.
- Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М. : Мысль, 1970. 442 с.
- Зыгмонт А. И. О феномене «царебожия» в современной религиозной культуре России // Вестн. Рос. гос. гуманит. ун-та. 2012. № 11. С. 138–145.
- Иоффе Г. З. Великий Октябрь и эпилог царизма. М. : Наука, 1987. 373 с.
- Касвинов М. К. Двадцать три ступени вниз. М. : Мысль, 1990. 459 с.
- Кинг Г., Вильсон П. Романовы. Судьба царской династии. М. : Эксмо, 2005. 909 с.
- Кисляков А. С. Формирование национальных партий на западных окраинах Российской империи, конец XIX — начало XX в. // Вопр. истории. 2011. № 11. С. 135–143.
- Корн В. И. Магические числа и таинственные знаки: ритуальное убийство царской семьи // Православие на Урале: веки истории : материалы Межрегион. науч.-практ. конф. 2012. С. 88–96.
- Корн В. И. По приказу тайных сил. Что скрывали надписи в Ипатьевском доме. Екатеринбург : Зд. монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев, 2009. 167 с.
- Кураев А. В. Испытание, которое приходит «справа». М. : Изд. Совет Русской Православной Церкви, 2005. 93 с.
- Латышев А. Ленин в расстреле не участвовал // Родина. 1993. № 3. С. 68–73.
- Левин В. И. Октябрьская революция и евреи России // Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. Т. 9, № 6–2. С. 29–32.
- Миллер Л. П. Царская семья — жертва темной силы. Сергиев Посад, 1998. 629 с.
- Мультипули П. В. Крестный путь Царской Семьи. Екатеринбургская голгофа. М. : Вече, 2013. 445 с.
- Мультипули П. В. Свидетельствуя о Христе до смерти... Екатеринбургское злодеяние 1918 года: новое расследование. М. : Форум, 2006. 799 с.

Мультиатули П. В. «Убийство Царской Семьи. Следствие не окончено... (Соколов против Юровского)». М. : Вече, 2016. 256 с.

Пагануцци П. Правда об убийстве Царской Семьи. М. : Товарищество рус. художников, 1992. 222 с.

Платонов О. А. Еврейский вопрос в России. М. : Яуза, 2005. 286 с.

Платонов О. А. Убийство царской семьи. М. : Сов. Россия, 1991. 191 с.

Платонов О. А. Цареубийцы. М. : Родная страна, 2015. 422 с.

Скарятин М. В. (Энель) Жертва. Нови Сад, 1925. 20 л.

Соколов Н. А. Убийство царской семьи. Берлин : Слово, 1925. 297 с.

Сосновских А. В. Национальная политика к началу XX века и ее влияние на развитие кризисной ситуации в Российской империи // Балт. гуманитар. журн. 2016. Т. 5, № 1 (14). С. 205–207.

Толстой И. И., Гессен Ю. И. Факты и мысли: Еврейский вопрос в России. СПб. : Типография товарищества «Общественная польза», 1907. 220 с.

Фомин С. В. Екатеринбургское ритуальное убийство // Россия перед вторым пришествием: Материалы к очерку Русской эсхатологии / сост. С. В. и Т. И. Фомины. Т. 2. СПб. : О-во святителя Василия Велик., 1998. 559 с.

Якобий И. П. Император Николай II и революция. Париж, 1938. 380 с.

Wilton R. The last Days of the Romanovs. Thornton Butterworth. London: Thornton Butterworth, 1920. 320 p.

References

Anokhina, E. V. (2019). K voprosu ob ispolnitelyakh ubiistva tsarskoi sem'i [On the question of the perpetrators of the murder of the royal family]. *Nauka cherez prizmu vremeni*, 4 (25), 20–22.

Bagdasaryan, V. E., Resnyanskii, S. I. (2018). Versiya o «ritual'nom ubiistve» tsarskoi sem'i v istoricheskoi literature i obshchestvennom diskurse [Version of the “ritual murder” of the royal family in historical literature and public discourse]. *Voprosy istorii*, 3, 35–48.

Biryukovich, V. V. (1883). Politicheskoe i ekonomicheskoe polozhenie evreev v Rossii [The political and economic situation of Jews in Russia]. *Russkoe bogatstvo*, 12, 655–690.

Bokhanov, A. N. (2006). *Poslednii tsar'* [The Last Tsar]. М.: Veche. 506 s.

Borisenok, Yu. (2020). Kak ne ubivali Romanovykh [How not to kill the Romanovs]. *Rodina*, 1, 112–115.

Budnitskii, O. V. (1994). “Krov' posovesti”: terrorizm v Rossii. Vtorayapolovina XIX — nachalo XX vv. [“Blood for Conscience”: Terrorism in Russia. Second half of the 19th — early 20th centuries]. *Otechestvennaya istoriya*, 6, 203–209.

Buldakov, V. P. (1997). *Krasnayasmuta. Priroda i posledstviya revolyutsionnogo nasiliya* [Red confusion. The nature and consequences of revolutionary violence]. М.: ROSSPEN. 373 s.

Varfolomeev, Yu. V. (2008). “Russkii sposob”: Fenomen revolyutsionnogo terrorizma v Rossii nachala KhKh v. [“Russian Way”: The Phenomenon of Revolutionary Terrorism in Russia at the Beginning of the 20th Century]. *Rossiiskii istoricheskii zhurnal*, 2, 3–51.

Volkogonov, D. (1994). *Lenin. Politicheskii portret: v 2-kh knigakh* [Lenin. Political portrait: in 2 books]. Kn. 1. М.: Novosti.

Vortman, R. (1999). «Ofitsial'naya narodnost'» i natsional'nyi mif rossiiskoi monarkhii XIX veka [Political and economic situation of Jews in Russia]. *ROSSIYA / RUSSIA*, 3(11): Kul'turnye praktiki v ideologicheskoi perspektive. М.: OGI, 233–244.

Gil'ferding, A. F. (2009). Rossiya i ee inorodcheskie okrainy na zapade [Russia and its foreign suburbs in the west]. *Rossiia i slavyanstvo*. М.: Institut russkoi tsivilizatsii, 278–295.

Gessen, Yu. I. (1906). *Evrei v Rossii. Ocherki obshchestvennoi, pravovoi i ekonomicheskoi zhizni russkikh evreev* [Jews in Russia. Essays on the social, legal and economic life of Russian Jews]. SPb. 471 p.

Gredeskul, N. A. (1912). *Terror i okhranka* [Terror and secret police]. SPb.: tip. t-va “Obshchestv. pol'za”. 35 s.

Diterikhs, M. K. (1922). *Ubiistvo tsarskoi sem'i i chlenov doma Romanovykh na Urale* [The murder of the royal family and members of the Romanov dynasty in the Urals]. Vladivostok: Voennaya akademiya.

Dyakin, V. S. (1995). Natsional'nyi vopros vo vnutrennei politike tsarizma (XIX v.) [The national question in the internal politics of tsarism (XIX century)]. *Voprosy istorii*, 9, 130–142.

Zhuk, Yu. A. (2014). *Voprositel'nye znaki v «tsarskom dele»* [Question marks in the “royal case”]. М.: Direkt media. 639 s.

Zaionchkovskii, P. A. (1970). *Rossiiskoe samodержavie v kontse XIX stoletiya* [Russian autocracy at the end of the 19th century]. М.: Mysl'. 442 s.

Zygmunt, A. I. (2012). O fenomene “tsarebozhiya” v sovremennoi religioznoi kul'ture Rossii [On the Phenomenon of “Tsar's God” in the Modern Religious Culture of Russia]. *Vestnik Rossiiskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta*, 11, 138–145.

Ioffe, G. Z. (1987). *Velikii Oktyabr' i epilog tsarizma* [Great October and the epilogue of tsarism]. М.: Nauka. 373 s.

Kasvinov, M. K. (1990). *Dvadsat' tri stupeni vniz* [Twenty-three steps down]. М.: Mysl'. 459 s.

King, G., Vil'son, P. (2005). *Romanovy. Sud'ba tsarskoi dinastii* [Romanovs. The fate of the royal dynasty]. М.: Eksmo. 909 s.

Kislyakov, A. S. (2011). Formirovanie natsional'nykh partii na zapadnykh okrainakh Rossiiskoi imperii. Konets XIX — nachalo XX v. [Formation of national parties in the western outskirts of the Russian Empire. Late 19th — early 20th century]. *Voprosy istorii*, 11, 135–143.

Korn, V. I. (2012). Magicheskie chisla i tainstvennye znaki: ritual'noe ubiistvo tsarskoi sem'i [Magic Numbers and Mysterious Signs: The Ritual Murder of the Royal Family]. *Pravoslavie na Urale: vekhi istorii. Materialy Mezhtselebovskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii*, 88–96.

Korn, V. I. (2009). *Po prikazu tainnykh sil. Chto skryvali nadpisi v Ipat'evskom dome* [By order of the secret forces. What the inscriptions in the Ipatiev House concealed]. Ekaterinburg: Zd. monastyrya vo imya Svyatykh Tsarstvennykh Strastoterpsev. 167 s.

- Kuraev, A. V. (2005). *Iskushenie, kotoroe prikhodit "sprava"* [The temptation that comes "from the right"]. M.: Izd. Sovet Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi. 93 s.
- Latyshev, A. (1993). Lenin v rasstrele ne uchastvoval [Lenin did not participate in the execution]. *Rodina*, 3, 68–73.
- Levin, V. I. (2017). Oktyabr'skaya revolyutsiya i evrei Rossii [The October Revolution and the Jews of Russia]. *Istoricheskaya i sotsial'no-obrazovatel'naya mysl'*, 9, 6–2, 29–32.
- Miller, L. P. (1998). *Tsarskaya sem'ya – zhertva temnoi sily* [The royal family is a victim of dark power]. Sergiev Posad. 629 s.
- Mutatuli, P. V. (2013). *Krestnyi put' Tsarskoi Sem'i. Ekaterinburgskaya golgofa* [Way of the Cross of the Royal Family. Yekaterinburg Calvary]. M.: Veche. 445 s.
- Mul'tatuli, P. V. (2006). *Svidetel'stvuya o Khriste do smerti... Ekaterinburgskoe zlodeyanie 1918 goda: novoe rassledovanie* [Witnessing Christ to Death... Yekaterinburg Atrocity of 1918: New Investigation]. M.: Forum. 799 s.
- Mul'tatuli, P. V. (2016). "Ubiistvo Tsarskoi Sem'i. Sledstvie ne okoncheno... (Sokolov protiv Yurovskogo)" ["Murder of the Royal Family. The investigation is not over... (Sokolov vs. Yurovsky)"]. M.: Veche. 256 s.
- Paganutstsi, P. (1992). *Pravda ob ubiistve Tsarskoi Sem'i* [The truth about the murder of the Royal Family]. M.: Tovarishchestvo rus. khudozhnikov. 222 s.
- Platonov, O. A. (2005). *Evreiskii vopros v Rossii* [The Jewish Question in Russia]. M.: Yauza, 2005. 286 s.
- Platonov, O. A. (1991) *Ubiistvo tsarskoi sem'i* [The murder of the royal family]. M.: Sov. Rossiya. 191 s.
- Platonov, O. A. (2015). *Tsareubitsy* [Kingslayers]. M.: Rodnaya strana. 422 s.
- Skaryatin, M. V. (1925). *(Enel') Zhertva* [(Enel) Sacrifice]. Novi Sad. 20 l.
- Sokolov, N. A. (1925). *Ubiistvo tsarskoi sem'i* [The murder of the royal family]. Berlin: Slovo, 1925. 297 s.
- Sosnovskikh, A. V. (2016). Natsional'naya politika k nachalu XX veka i ee vliyanie na razvitie krizisnoi situatsii v Rossiiskoi imperii [National policy by the beginning of the 20th century and its impact on the development of the crisis in the Russian Empire]. *Baltiiskii gumanitarnyi zhurnal*, 1(14), 205–207.
- Tolstoy, I. I., Gessen, Yu. I. (1907). *Fakty i mysli. Evreiskii vopros v Rossii* [Facts and thoughts. Jewish Question in Russia]. SPb.: Tipografiya tovarishchestva "Obshchestvennaya pol'za". 220 s.
- Fomin, S. V. (1998). Ekaterinburgskoe ritual'noe ubiistvo. Rossiya pered Vtorym prishestviem [Yekaterinburg ritual murder]. *Materialy k ocherku Russkoi eskhatologii / sost. S. V. i T. I. Fominy. T. II*. SPb.: O-vo svyatitelya Vasiliya Velik. 559 s.
- Yakobii, I. P. (1938). *Imperator Nikolai II i revolyutsiya* [Emperor Nicholas II and the revolution]. Parizh. 380 s.
- Wilton, R. (1920). *The last Days of the Romanovs*. Thornton Butterworth. London: Thornton Butterworth. 320 p.

Сведения об авторе

Белов Сергей Игоревич, доктор политических наук, кандидат исторических наук, доцент кафедры российской политики факультета политологии Московского государственного университета, Москва, Россия

*Статья поступила в редакцию 15.08.2022;
одобрена после рецензирования 01.09.2022;
принята к публикации 10.09.2022*

Information about the author

Sergey I. Belov, Doct. Sci. (Political Science), Cand. Sci. (Historical Science), sssociate Professor of Russian Politics Program Political Science Department Lomonosov Moscow State University, Russia

*The article was submitted 15.08.2022;
approved after reviewing 01.09.2022;
accepted for publication 10.09.2022*

Научная статья

УДК 94:159.953 + 316.346.36:159.953 + 94(470)“1941/1945” + 070.11:004.77 + 316.7

doi 10.15826/tetm.2022.3.027

Особенности региональных коммеморативных проектов в цифровой среде (на примере проектов о Великой Отечественной войне)

Симона Андреевна Андрисенко

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

simonaandrisenko@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-4480-5372>

Аннотация. Целью статьи является анализ региональных цифровых коммеморативных проектов, посвященных Великой Отечественной войне. В работе рассматриваются кейсы, реализованные в Калининграде, Туле и Томске в 2020–2021 гг., и анализируются форматы коммеморативных практик, цель и посыл проектов, медиатехнологии и уровень контента. Для исследования были отобраны шесть цифровых проектов, определены реализующие их региональные акторы, а также изучены тематика проектов и особенности пользовательского участия. Проекты подчеркивают региональную специфику в зависимости от включения территории в события военного времени. Стоит отметить, что региональными акторами коммеморативных проектов в цифровом пространстве являются государственные организации: библиотеки, архивы, университеты. Данные проекты созданы и функционируют так, что подразумевают минимальную пользовательскую активность, в том числе и потому, что акторы используют ограниченный набор мультимедийных инструментов.

Ключевые слова: политика памяти, региональная память, региональные акторы политики памяти, цифровые проекты, коммеморация, Великая Отечественная война

Для цитирования: Андрисенко С. А. Особенности региональных коммеморативных проектов в цифровой среде (на примере проектов о Великой Отечественной войне) // *Tempus et Memoria*. 2022. Т. 3, № 1. С. 16–22. doi 10.15826/tetm.2022.3.027

Благодарности: исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта № 21-011-31153опн.

Original article

Features of Regional Commemorative Projects in Digital (on the Example of Projects about the Great Patriotic War)

Simona A. Andrisenko

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

simonaandrisenko@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-4480-5372>

Abstract. The purpose of the article is to analyze regional digital commemorative projects dedicated to the Great Patriotic War. The paper explores the cases of Kaliningrad, Tula and Tomsk in 2020–2021 and analyzes the formats of commemorative practices, the purpose and message of projects, media technologies and the level of content. Six digital projects were selected for the study, regional actors implementing them were identified, and the topics of projects and features of user participation were studied. The projects emphasize regional specifics depending on the inclusion of the territory in wartime events. It is worth noting that the regional actors of commemorative projects in the digital space are state organizations: libraries, archives, universities. These projects are created and function in such a way that they imply minimal user activity, including because actors use a limited set of multimedia tools.

Keywords: memory policy, regional memory, regional actors of memory policy, digital projects, commemoration, the Great Patriotic War

For citation: Andrisenko, S. A. (2022). Osobennosti regional'nykh kommemorativnykh proektov v tsifrovoi srede (na primere proektov o Velikoi Otechestvennoi voine) [Features of regional commemorative projects in digital (on the example of projects about the Great Patriotic War)]. *Tempus et Memoria*, 3, 1. 16–22. doi 10.15826/tetm.2022.3.027

Acknowledgments: the study was financially supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) and the Social Research Expert Institute (EISI) within the framework of research project № 21-011-31153opn.

В современном мире память является важным инструментом влияния на общество. Стратегии политик памяти, а также способы реализации различных коммеморативных практик стали важным объектом для изучения специалистами по истории, социологии, политологии и культурологии. В современных гуманитарных исследованиях большой интерес прикован как к изучению способов работы с прошлым, так и к механизмам их трансформации. Особенно актуально изучение политики памяти в условиях цифровизации. Развитие Интернета и социальных сетей, а также возможность машинных вычислений и анализа баз данных создают и новые возможности, и сложности для гуманитарных наук в принципе [Berry]. Российские и зарубежные специалисты говорят о так называемом «цифровом повороте» [Артамонов, Тихонова] и рассуждают об изменениях истории и способов ее репрезентации в цифровой среде [Соловьева]. В работах исследователей memory studies возникают понятия

«digital-память» [Hoskins 2014] и «культура digital-памяти» [Hoskins 2017].

В связи с процессами цифровизации конструируется в целом новая цифровая реальность жизнедеятельности общества. Цифровые технологии и Интернет породили новую форму памяти, которая может быть одномоментно индивидуальной и коллективной и которая обладает возможностью изменений в режиме реального времени, но при этом не может быть полностью стерта из Сети.

В данной работе мы решили исследовать особенности региональных проектов о Великой Отечественной войне, созданных и размещенных в цифровом пространстве. Актуальность исследования состоит в том, что сейчас происходит трансформация коммеморативных практик в условиях дигитализации, а значит, меняются и способы формирования исторической памяти. Из-за ситуации с пандемией особенно обострилась необходимость развития и внедрения цифровых проектов. В России в год

75-летия Победы можно было увидеть необходимость перевода коммеморативных практик в цифровой формат на примере проведения в Сети акции «Бессмертный полк».

Российские исследователи уже обращались к анализу конкретных цифровых коммеморативных проектов, связанных с сохранением личной памяти, механизмов их функционирования и их способов работы с аудиторией [Шуб; Лапина-Кратасюк, Рублева]. Политика памяти может реализовываться как на государственном, так и на региональном уровне. В данной работе проводится анализ региональных проектов, связанных только с темой Великой Отечественной войны.

В качестве акторов политики памяти, иначе называемых «мнемоническими акторами», рассматривают политические силы, которые заинтересованы в специфической интерпретации прошлого [Малинова 2019]. При этом в качестве самостоятельных акторов можно выделить отдельно как федеральные, так и региональные элиты, а также партии, движения и силы, не имеющие институциональных структур.

Политика памяти, которую реализуют в том числе региональные акторы, представляет собой деятельность, нацеленную на утверждение определенных представлений о коллективном прошлом и создание инфраструктуры, которая их поддерживает. Это может касаться как законодательного регулирования высказываний о прошлом, разработки школьных программ, проведения коммеморативных мероприятий, так и создания фильмов, книг, музейных экспозиций [Малинова 2017]. В этот перечень также стоит включить и различные проекты в цифровой среде.

В качестве объектов данного исследования выбраны цифровые коммеморативные проекты, реализованные в трех российских городах — Калининграде, Туле и Томске. Важно, что каждый из трех выбранных регионов имеет свои отличительные исторические особенности, связанные с военным временем. Чтобы отследить специфику местных проектов, для анализа был взят тыловой регион, регион, в котором велись активные боевые действия, и пограничный регион, который вошел в состав страны по итогам войны. В статье анализируются форматы коммеморативных практик, цель

и посыл проектов, медиатехнологии, содержание контента.

Мы отобрали проекты для анализа, определили акторов, которые реализуют данные проекты в цифровой среде, изучили тематику коммеморативных проектов и особенности участия в них пользователей. В Томске к 75-й годовщине Победы Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина запустила на своем краеведческом портале проект «Томская культура в годы Великой Отечественной войны» [Томская культура...]. Данный коммеморативный проект состоит из двух частей, каждая из которых расположена на отдельной странице. Первая часть, «На фронтах Великой Отечественной», посвящена работникам культуры Томской области, которые принимали участие в военных действиях [На фронтах...]. На странице представлен перечень из семи творческих профессий, в котором в алфавитном порядке располагаются краткие биографии и фотографии художников, музыкантов, актеров и т. д. Вторая часть проекта, «Культурная жизнь Томска в 1941–1945 гг.», состоит из рассказов о культурных событиях и деятельности работников культуры в самом тыловом Томске [Культурная жизнь...].

В 2021 г. в Томске перед празднованием Дня Победы был запущен цифровой проект «Живая память Победы в историях и лицах» [Живая память...]. На площадке Томского регионального отделения ОНФ при поддержке АНО «Координационный центр “ЕТИС”» проходили онлайн-трансляции с участниками Великой Отечественной войны и их потомками. Согласно информации регионального СМИ «Томское время» к каждому онлайн-эфиру подключались около 2 тыс. слушателей [Стучебров]. По окончании проекта все трансляции были сохранены на YouTube-канале.

В Туле в 2020 г. был запущен интерактивный проект «Живи и помни» [Живи и помни]. Это отдельный сайт, на котором собраны различные виды информации о событиях военного времени в регионе. На сайте имеются разделы с фотографиями, оцифрованными документами, письмами, газетными статьями, видеоархив, воспоминания ветеранов и картотека с информацией о солдатах, тружениках тыла и других категориях граждан из Тульской области и не только. Кроме того, на сайте есть

регулярно обновляемый раздел новостей. Там публикуется информация о патриотических мероприятиях, работе поисковых отрядов и жизни ветеранов в Тульской области.

«Живи и помни» — проект, созданный тремя региональными организациями: Тульским военно-историческим музеем, Государственным архивом Тульской области и региональным библиотечно-информационным комплексом. На сайте представлены результаты многолетней работы. Так, областная библиотека более 10 лет занималась оцифровкой газет, которые ранее не были широко представлены в Интернете.

Тульская областная научная библиотека, помимо участия в коллективном проекте, провела и собственную инициативу к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Герой газетной полосы» — проект, созданный в формате сообщества в «ВКонтакте», в котором публикуются оцифрованные вырезки из газетных статей и рассказываются истории тех людей, которым они посвящены [Герой газетной полосы]. Спустя год после создания проект также функционирует, только теперь материалы СМИ посвящены 80-летию обороны Тулы. Также стоит отметить, что работу по оцифровке советских газет Тульская областная научная библиотека начала более 10 лет назад. В 2010–2016 гг. был реализован проект «Войны газетная строка — строка Победы». Информация о ходе реализации проекта и материалы проекта размещаются в блоге библиотеки [О проекте...].

В Калининграде весной 2020 г. проводилась крупная научно-практическая конференция «В боях за Восточную Пруссию: 75 лет Великой Победе» [В боях за...]. Балтийский федеральный университет им. Канта в партнерстве с Институтом всеобщей истории РАН, Институтом российской истории РАН и Калининградским областным историко-художественным музеем подготовили не только обширную программу мероприятий, но и несколько цифровых проектов о событиях в регионе во время войны. В частности, был создан совместный проект БФУ им. Канта и регионального интернет-СМИ rubaltic.ru «Штурм Кёнигсберга: взять неприступный город-крепость за 81 час» [Штурм Кёнинсберга...]. История о ходе Восточно-Прусской операции представлена

в формате лонгрида. Он состоит из авторского текста, комментариев историков, выдержек из документов военного времени, оцифрованных фото, документов, карт.

Еще один цифровой проект, «Год памяти и славы: Великой Победе посвящается...», был подготовлен Государственным архивом. На сайте архива представлена подборка документов, связанных с историей появления улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны [Год памяти...]. На отдельной странице представлен список с названиями улиц, для каждой из которых предусмотрена отдельная вкладка. Там представлены оцифрованные документы, снимки улицы, портреты солдата, в честь которого названа улица, и его краткая биография. Цифровые проекты о топонимике Калининграда создавались и ранее. В 2015 г. был реализован проект электронной книги об именах героев в названиях улиц. Однако на данный момент информация на сайте проекта уже недоступна [Старцев].

Таким образом, мы видим, что исследуемые коммеморативные проекты в цифровой сфере существуют в нескольких форматах. Чаще всего это именно текстовые и текстово-визуальные проекты, размещенные на отдельных вкладках организаций (на их основных страницах, аккаунтах в социальных сетях или YouTube), которые эти проекты и реализуют. Реже, как в случае с «Живи и помни» в Туле, у проекта есть собственный сайт, что связано с тем, что это коллективный проект нескольких организаций.

Основной формой контента в подобных проектах является текстовая информация — преимущественно биографические данные, которые дополняются фотографиями или оцифрованными документами, картами, газетными вырезками. Исключение составляет лишь томский проект, полностью состоящий из видеотрансляций. При этом во многих проектах информация преподносится в формате архивных данных (дата, время, место, источник). Создатели проектов пытаются хотя бы частично передавать информацию от лица участников военных событий, совмещая архивные данные и биографические сведения, отрывки из писем и воспоминаний. При этом истории выбранных героев между собой не связаны, то есть создатели проекта не прибегают к формату сторителлинга. Отсутствует попытка

сформировать единую картину из имеющегося набора данных.

В исследуемых коммеморативных проектах, за исключением калининградского лонгрида о ходе военной операции, сделан акцент на личные истории участников военных событий. Это может быть интервью с ветераном, как в томских трансляциях «Живая память победы в историях и лицах», или же воспоминания фронтовиков и письма солдат в тульском «Живи и помни». Если нет возможности предоставить информацию от первого лица, то проект наполняется информацией о людях через их биографию, газетные статьи о них.

Несмотря на то что практически во всех проектах авторы пытаются сделать акцент на личных историях и отдельных участниках военных событий, мы попытались выделить некоторые региональные особенности. Так, в цифровых проектах Калининграда много внимания уделяется самому городу, топонимике, истории региона. И хотя через названия улиц рассказывается о людях, все же пространство является основным субъектом интереса и исследования. Калининградская область как регион России начинает свою историю от войны. Пока в других регионах акторы коммеморативных проектов стремятся акцентировать внимание на героических земляках и их подвигах, в Калининграде, который не являлся родиной для защитников страны, акцент сделан на городское пространство.

В тульских проектах благодаря специфике регионального прошлого контент посвящен как военным событиям, так и историям о жизни конкретных людей в военное время. Причем опубликованные газетные вырезки посвящены судьбам самых разных категорий граждан: солдат, тружеников тыла, детей войны. Отдельное внимание уделяется не только людям, родившимся на тульской земле, но и тем, кто воевал и погиб здесь во время боевых действий. Томские проекты сосредоточены именно на судьбе соотечественников, которые воевали в других регионах страны, или же в них актуализируется тема тыловой жизни и труда.

Данные проекты созданы и функционируют так, что подразумевают минимальную пользовательскую активность. Единственное исключение — тульский проект «Живи

и помни». На сайте есть вкладки, позволяющие потомкам участников боевых действий рассказать истории предков или связаться с музеями или архивами, чтобы передать документы или артефакты [Внесите историю...].

В федеральных цифровых коммеморативных проектах, посвященных теме Великой Отечественной войны, таких как «Бессмертный полк» [Запиши деда...] и «Дорога памяти» [Загрузить фотографию...], аудитория привлекается в том числе за счет возможности создавать пользовательский контент. Интерес к проектам связан с тем, что люди самостоятельно могут рассказать свои семейные истории. На первый план выходит не столько память о войне, сколько память о родных. Через родственные связи и самоидентификацию с семьей у современных пользователей получается соотносить себя с войной. В исследуемых нами региональных проектах аудитория — пассивные потребители контента, созданного редакторами сайтов, сотрудниками библиотек, музеев и вузов. Единственная возможность активного участия в проектах — комментирование материалов.

Стоит отметить, что акторами региональных коммеморативных проектов в цифровом пространстве являются государственные организации: библиотеки, архивы, университеты. Отсюда следует, что подобные проекты соотносятся с консервативной общественно-политической повесткой.

Рассмотренные региональные проекты выполняют информационные и образовательные функции, а также актуализируют память о войне в данных регионах. Содержание проектов связано с местами в регионах или с людьми из этих мест, что позволяет современным жителям исследуемых городов соотносить себя с историей.

Создатели исследуемых цифровых коммеморативных проектов используют довольно ограниченный набор мультимедийных инструментов. Практически полностью отсутствуют видео- и аудиоформаты, таймлайны, интерактивные карты. По сути, все проекты выглядят как переложение архивных, музейных, библиотечных данных в цифровой формат: библиографические списки, постраничные вкладки, линейная модель восприятия контента.

Список источников

- Артамонов Д. С., Тихонова С. В. «Гараж» истории: цифровой поворот «независимых исторических исследований» // Диалог со временем. Вып. 72. 2020. С. 237–254.
- В боях за Восточную Пруссию: 75 лет Великой Победе. URL: <http://special.kantiana.ru/war> (дата обращения: 22.11.2021).
- Внесите историю — Живи и помни. URL: <https://pobeda71.ru/history/add/> (дата обращения: 22.11.2021).
- Герой газетной полосы. URL: <https://vk.com/newspaperhero> (дата обращения: 22.11.2021).
- Год памяти и славы: Великой Победе посвящается... URL: <https://gako.name/deyatelnost/arkhivnye-proekty/god-pamyati-i-slavy-velikoy-pobede-posvyashchaetsya/> (дата обращения: 22.11.2021).
- Живая память победы в историях и лицах. URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYO1L1ZE2_утроКОсJPOZ1xAzHWh2fZqD (дата обращения: 22.11.2021).
- Живи и помни. URL: <https://pobeda71.ru> (дата обращения: 22.11.2021).
- Загрузить фотографию — Дорога Памяти. URL: <https://foto.pamyat-naroda.ru/hero> (дата обращения: 22.11.2021).
- Запиши деда в полк — Бессмертный полк. URL: <https://www.moypolk.ru/soldier/create1> (дата обращения: 22.11.2021).
- Культурная жизнь Томска в 1941–1945 годах — Томская культура в годы Великой Отечественной войны. URL: <https://kraeved.lib.tomsk.ru/page/3062/> (дата обращения: 22.11.2021).
- Лапина-Кратасюк Е. Г., Рублева М. В. Проекты сохранения личной памяти: цифровые архивы и культура участия // Шаги/Steps. 2018. № 3–4. С. 147–165. URL: http://shagi.ranepa.ru/files/shagi18_3/shagi18_3_08.pdf (дата обращения: 03.12.2021).
- Малинова О. Ю. «Коммеморация исторических событий как инструмент символической политики: возможности сравнительного анализа» // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз: Журнал политической философии и социологии политики. 2017. № 4 (87). С. 6–22.
- Малинова О. Ю. Кто и как формирует официальный исторический нарратив? (Анализ российских практик) // Там же. 2019. № 3 (94). С. 103–126.
- На фронтах Великой Отечественной — Томская культура в годы Великой Отечественной войны. URL: <https://kraeved.lib.tomsk.ru/page/3061/> (дата обращения: 22.11.2021).
- О проекте — Новое направление регионального проекта «Войны газетная строка — строка победы». URL: https://tulalibrary.blogspot.com/p/blog-page_06.html (дата обращения: 22.11.2021).
- Соловьева Д. Ю. Новый историзм и репрезентации истории в цифровой среде // Вестн. Моск. ун-та. Серия : Журналистика. 2018. № 4. С. 26–54.
- Старцев П. Подвиги героев войны увековечены на онлайн-карте Калининграда // «Русский Запад» — новости Калининграда. 06.03.2015. URL: <https://ruwest.ru/news/34667/> (дата обращения: 03.12.2021).
- Стучебров А. Томские ветераны рассказывают о своих подвигах онлайн // Томское время. 09.04.2021. URL: <https://tomsk-time.ru/news/main/6411-tomskie-veterany-rasskazivajut-o-svoih-podvigah-onlajn.html> (дата обращения: 03.12.2021).
- Томская культура в годы Великой Отечественной войны. URL: <https://kraeved.lib.tomsk.ru/page/3060/> (дата обращения: 22.11.2021).
- «Штурм Кёнигсберга: взять неприступный город-крепость за 81 час». URL: <http://special.kantiana.ru/storm> (дата обращения: 22.11.2021).
- Шуб М. В. Специфика медиарепрезентации культурной памяти (на примере проекта «Бессмертный барак») // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2020. № 2(36). С. 181–186.
- Berry D. M. The computational turn: Thinking about the digital humanities // Culture Machine. 2011. № (12). P. 1–2.
- Hoskins A. The Restless Past: An Introduction to Digital Memory and Media // Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition / ed. A. Hoskins. New York : Routledge, 2017.
- Hoskins A. The mediatization of memory // Mediatization of communication / ed. K. Lundby. Berlin, Germany : De Gruyter Mouton, 2014.

References

- Artamonov, D. S., Tikhonova, S. V. (2020). “Garazh” istorii: tsifrovoi povorot “nezavisimyykh istoricheskikh issledovaniy” [The “Garage” of History: the digital turn of “independent historical research”]. *Dialog so vremenem*, 72, 237–254.
- Berry, D. M. (2011). The computational turn: Thinking about the digital humanities. *Culture Machine*, 12, 1–2.
- Geroy gazetnoy polosy [The hero of the newspaper strip]. URL: <https://vk.com/newspaperhero> (accessed: 22.11.2021).
- God pamyati i slavy: Velikoy Pobede posvyashchaetsya... [The Year of Memory and Glory: Dedicated to the Great Victory...]. URL: <https://gako.name/deyatelnost/arkhivnye-proekty/god-pamyati-i-slavy-velikoy-pobede-posvyashchaetsya/> (accessed: 22.11.2021).
- Hoskins, A. (2017). The Restless Past: An Introduction to Digital Memory and Media. *Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition* / ed. A. Hoskins. New York : Routledge.
- Hoskins, A. (2014). The mediatization of memory. *Mediatization of communication* / ed. K. Lundby. Berlin, Germany : De Gruyter Mouton.
- Kul'turnaya zhizn' Tomsk v 1941–1945 godakh — Tomskaya kul'tura v gody Velikoy Otechestvennoy voyny [The cultural life of Tomsk in 1941–1945 — Tomsk culture during the Great Patriotic War]. URL: <https://kraeved.lib.tomsk.ru/page/3062/> (accessed: 22.11.2021).

Lapina-Kratasyuk, E. G., Rubleva, M. V. (2018). Proekty sokhraneniya lichnoy pamyati: tsifrovye arkhivy i kul'tura uchastiya [Projects to preserve personal memories: Digital archives and participatory culture]. *Steps*, 3–4, 147–165. URL: http://shagi.ranepa.ru/files/shagi18_3/shagi18_3_08.pdf (accessed: 03.12.2021).

Malinova, O. Yu. (2017). Kommemoratsiya istoricheskikh sobyitiy kak instrument simvolicheskoy politiki: vozmozhnosti sravnitel'nogo analiza [Commemoration of historical events as instrument of symbolic policy: possibilities of comparative analysis]. *Zhurnal politicheskoy filosofii i sotsiologii politiki «Politiya. Analiz. Khronika. Prognoz»*, 4 (87), 6–22.

Malinova, O. Yu. (2019). Kto i kak formiruet ofitsial'nyy istoricheskiy narrativ? (Analiz rossiyskikh praktik) [Who forms official historical narrative and how? (Analysis of Russian practices)]. *Zhurnal politicheskoy filosofii i sotsiologii politiki «Politiya. Analiz. Khronika. Prognoz»*, 3 (94), 103–126.

Na frontakh Velikoy Otechestvennoy — Tomskaya kul'tura v gody Velikoy Otechestvennoy voyny [On the fronts of the Great Patriotic War — Tomsk culture during the Great Patriotic War]. URL: <https://kraeved.lib.tomsk.ru/page/3061/> (accessed: 22.11.2021).

O proekte — Novoe napravlenie regional'nogo proekta “Voyny gazetnaya stroka — stroka pobedy” [About the project — A new direction of the regional project “Wars newspaper line — victory line”]. URL: https://tulalibrary.blogspot.com/p/blog-page_06.html (accessed: 22.11.2021).

Shub, M. V. (2020). Spetsifika mediarepresentatsii kul'turnoy pamyati (na primere proekta “Bessmertnyy barak”) [The specifics of the media representation of cultural memory (on the example of the project “Immortal Barrack”). *Znak: problemnoe pole mediaobrazovaniya*, № 2(36), 181–186.

Solovyova, D. Yu. (2018). Novyy istorizm i reprezentatsii istorii v tsifrovoy srede [New historicism and historical representations in the digital environment]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya Zhurnalistika*, 4, 26–54.

Startsev, P. (2015). Podvigi geroev voyny uvekovecheny na onlayn-karte Kaliningrada [Podvigi geroev voyny uvekovecheny na onlayn-karte Kaliningrada]. “*Russkiy Zapad*” — *novosti Kaliningrada*. 06.03.2015. URL: <https://ruwest.ru/news/34667/> (accessed: 03.12.2021).

Stuchebrov, A. (2021). Tomskie veterany rasskazyvayut o svoikh podvigakh onlayn [Tomsk veterans talk about their exploits online]. *Tomskoe vremya*, 09.04.21. URL: <https://tomsk-time.ru/news/main/6411-tomskie-veterany-rasskazvayut-o-svoih-podvigah-onlajn.html> (accessed: 03.12.2021).

Tomskaya kultura v gody Velikoy Otechestvennoy voyny [Tomsk culture during the Great Patriotic War]. URL: <https://kraeved.lib.tomsk.ru/page/3060/> (accessed: 22.11.2021).

V boyakh za Vostochnuyu Prussiyu: 75 let Velikoi Pobede [In the Battles for East Prussia: 75 years of the Great Victory]. URL: <http://special.kantiana.ru/war> (accessed: 22.11.2021).

Vnesite istoriyu — Zhivi i pomni [Make history — Live and remember]. URL: <https://pobeda71.ru/history/add/> (accessed: 22.11.2021).

Zagruzit' fotografiyu — Doroga Pamyati [Upload a photo — Memory Road]. URL: <https://foto.pamyat-naroda.ru/hero> (accessed: 22.11.2021).

Zapishi deda v polk — Bessmertnyy polk [Enroll your grandfather in a regiment — an Immortal regiment]. URL: <https://www.moypolk.ru/soldier/create1> (accessed: 22.11.2021).

Zhivaya pamyat' pobedy v istoriyakh i litsakh [The living memory of victory in stories and faces]. URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYO1L1ZE2_utpoKOCJP0Z1xAzHWh2fZqD (accessed: 22.11.2021).

Zhivi i pomni [Live and remember]. URL: <https://pobeda71.ru> (accessed: 22.11.2021).

Сведения об авторе

Андрисенко Симона Андреевна, магистрант факультета политологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия

Information about the author

Simona A. Andrisenko, magister, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Статья поступила в редакцию 15.12.2021;
одобрена после рецензирования 25.12.2021;
принята к публикации 30.12.2021

The article was submitted 15.12.2021;
approved after reviewing 25.12.2021;
accepted for publication 30.12.2021

Научная статья

УДК 101.1:316 + 32.019.51 + 303.022 + 94:159.953

doi 10.15826/tetm.2022.3.028

Политический миф как элемент политики памяти

Алексей Андреевич Цельковский

Липецкий государственный технический университет, Липецк, Россия

alts1085@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2442-5463>

Аннотация. В работе рассматриваются роль и функции политического мифа в процессе формирования исторической памяти и ее осуществления. Особое внимание уделяется анализу феномена политического мессианизма как одного из самых значимых элементов национальной культуры и национального политического менталитета. Рассматриваются трансформации мессианской политической мифологии в различные периоды российской истории. Поскольку в современной российской мифотворческой практике отсутствуют предпосылки для формирования мессианской политической мифологии, то происходит активное обращение к советскому периоду истории, в частности к Великой Отечественной войне. Мифы, связанные с Великой Отечественной войной, становятся наиболее важными в осуществлении политики памяти.

Ключевые слова: миф, политический миф, политика памяти, политический мессианизм

Для цитирования: Цельковский А. А. Политический миф как элемент политики памяти // *Tempus et Memoria*. 2022. Т. 3, № 1. С. 23–28. doi 10.15826/tetm.2022.3.028

Original article

Political Myth as an Element of the Politics of Memory

Aleksei A. Tselykovskiy

Lipetsk State Technical University, Lipetsk, Russia

alts1085@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-2442-5463>

Abstract. The paper examines the role and functions of the political myth in the process of the formation of historical memory and the implementation of the politics of memory. Particular attention is paid to the analysis of the phenomenon of political messianism, as one of the most significant elements of national culture and national political mentality. The transformations of messianic political mythology in different periods of Russian history are considered. Since there are no prerequisites for the formation of a messianic political mythology in modern Russian myth-making practice, there is an active appeal to the Soviet period of history, in particular to the Great Patriotic War. The myths associated with the Great Patriotic War become the most important in the implementation of the politics of memory.

Keywords: myth, political myth, politics of memory, political messianism

© Цельковский А. А., 2022

For citation: Tselykovskiy, A. A. (2022). Politicheskii mif kak element politiki pamyati [Political Myth as an Element of the Politics of Memory]. *Tempus et Memoria*, 3, 1. 23–28. doi 10.15826/tetm.2022.3.028

В условиях нарастающей конфронтации со странами Запада особенно актуальной становится проблема поиска прочных духовных и ценностных оснований коллективной памяти. Массированная пропаганда, информационные войны делают ее особенно уязвимой для различных деструктивных идей и мифов. В этой связи возникает вопрос, касающийся «инструментов» осуществления политики памяти. На наш взгляд, одним из центральных элементов в процессе формирования коллективной памяти, сохранения и трансляции социокультурного опыта, а соответственно и осуществления политики памяти, является современный политический миф. В данном исследовании мы рассмотрим политические мифы, присутствующие в российской политической практике и их роль в политике памяти.

Прежде всего определимся с тем, что представляет собой современный политический миф. Одна из главных особенностей современного мифа заключается в том, что он требует не рационального понимания, а эмоционального вовлечения. В этом заключается главное сходство архаической мифологии с мифологией современной. Подобно архаическому мифу современный миф предлагает общественному сознанию определенные шаблоны мышления и поведения, действующие на бессознательном уровне. По мнению Н. И. Шестова, «социально-политический миф можно определить, как устойчивый и эмоционально окрашенный стереотип восприятия политических реалий прошлого и настоящего, порожденный потребностью ориентации личности и общественных структур в политическом процессе» [Шестов, 79]. Структуру политического мифа можно представить следующим образом. Конституирующим элементом политического мифа являются мифологические символы-архетипы, благодаря которым происходит, во-первых, сакрализация политических процессов; во-вторых, трансляция ценностей. Современный миф апеллирует к бессознательным пластам общественного сознания, вызывая эмоциональный отклик и провоцируя определенное поведение. Транслируемые современным мифом смыслы

становятся для общественного сознания своеобразными ориентирами в пространстве социальной реальности, моделями мышления и деятельности.

Перечисленные выше особенности позволяют современному политическому мифу выполнять ряд значимых социальных функций. Прежде всего политический миф редуцирует картину социальной реальности к понятным образам. При этом политический миф не только создает определенный образ реальности, но и соответствующим образом интерпретирует его, предоставляя набор смысловых шаблонов и стереотипов. То есть помогает субъекту познавать социальную реальность. Из этого следует аксиологическая функция современного мифа. Ценности, создаваемые и транслируемые политическим мифом, ложатся в основу мировоззрения политического субъекта и позволяют ему ориентироваться в смысловом пространстве социальной реальности. Кроме того, в форме политического мифа происходит трансляция социокультурного опыта, что, в свою очередь, способствует самоидентификации субъекта. Отсюда следует прагматическая функция политического мифа, заключающаяся в обеспечении коммуникации, легитимации политической власти, а также социальной мобилизации.

Таким образом, базовые символы-архетипы, имеющие общекультурное значение, получают истолкование в соответствии с национальным политическим менталитетом и культурными традициями. Устойчивые политические мифы, совпадающие с национальным менталитетом и наиболее полно отражающие его характер, складываются в своеобразную мифологию нации, детерминирующую в числе прочего историческую память.

Определенные исторические обстоятельства способствовали закреплению в национальном менталитете и национальной культуре мессианского политического мифа. Феномен политического мессианизма можно определить как совокупность или систему устойчивых политических мифов, отстаивающих особое положение нации или страны и утверждающих наличие у нее уникальной исторической

миссии. Основными чертами политического мессианизма являются идея уникальности и обособленности национальной культуры, которая противопоставляется прочим культурам; идея наличия собственного исторического пути или особой исторической миссии.

В отечественной истории процесс формирования мессианского мифа сопровождал становление и укрепление Московского государства. Свое наиболее целостное выражение мессианский миф получил в виде религиозно-политической концепции «Москва — Третий Рим». Удачно сложившиеся исторические условия позволили закрепиться данной концепции в национальной культуре и национальном менталитете. Идея «Москва — Третий Рим» изначально носила исключительно религиозный характер, отстаивая духовное превосходство Москвы. Тем не менее, приобретя политическое прочтение, данная концепция стала идейной основой развивающегося Московского государства и одним из элементов легитимности московских правителей. Вся последующая история Российского государства, несмотря на внутри- и внешнеполитические изменения, так или иначе несла в себе отпечаток политического мессианизма.

Мессианский политический миф превратился в одну из самых значимых детерминант национального политического сознания. В начале XVIII в. из-за прозападной политики Петра Великого концепция Третьего Рима заменяется стремлениями к военно-политическому доминированию России. Однако в XIX в. мессианский миф возродился в философии славянофилов. Отчетливые черты мессианского мировоззрения также просматриваются, например, в религиозно-философском споре о русской идее. В форме размышлений о русской идее философы пытались решить ряд вопросов, касающихся специфики национальной культуры и истории, путей развития России, ее отношений с Западом. Русская идея — это не идеологическая программа, это мессианское мировоззрение, выраженное в форме религиозно-философских идей. Как замечает по этому поводу Э. Я. Баталов, «никому из серьезных авторов и в голову не приходило ставить знак равенства между Русской идеей и идеологией или толковать эту Идею как стратегию национального развития... Так что, когда произносили эти два

слова — Русская идея, было понятно, что речь идет о пути России в мировой истории: предначертан ли он всевышним или логикой исторического процесса» [Баталов, 28]. В начале двадцатого столетия мессианский миф отчетливо проявился в форме идеологии Третьего интернационала. Таким образом, в совершенно разных исторических и культурных условиях мессианский миф так или иначе присутствовал в российской истории.

Ввиду того что основная функция политического мифа заключается в смыслообразовании и трансляции социокультурных ценностей, можно заключить, что в осуществлении политики памяти он действительно играет одну из главных ролей. Как замечают Д. И. Гагаури и В. А. Гуторов, «политический миф выступает центральной категорией при изучении исторического сознания наций, политической идентичности гражданских сообществ, структуры коллективной и исторической памяти» [Гагаури, Гуторов, 25]. А учитывая тот факт, что политический мессианизм является одной из характерных черт национальной культуры и исторической памяти, возникает вопрос: присутствуют ли в современной российской политической практике элементы мессианского политического мифа и какую роль они играют в политике памяти?

За последние два десятилетия в официальном политическом дискурсе сформировались довольно четкие тенденции относительно интерпретации прошлого России. При этом одной из ведущих тенденций в мифотворческой практике и политике памяти стало активное обращение к советскому периоду российской истории. Примечательно, что после распада СССР и отказа от мессианской политической мифологии, свойственной советской политической практике, новая властная элита стремилась к отмежеванию от советского периода и установлению символической преемственности с дореволюционной Россией (о чем, к примеру, свидетельствует новая государственная символика).

Однако в начале 2000-х гг. с приходом нового главы государства ситуация претерпела изменения. В частности, появились новые, не свойственные ельцинскому периоду нарративы и модели интерпретации отечественной истории. Как замечают по этому поводу

российские исследователи, «смысловым стержнем нового официального нарратива стала проецируемая на всю “тысячелетнюю историю” России идея великодержавности. Именно государство (вне зависимости от менявшихся границ и политических режимов) выступает в качестве ключевой ценности, скрепляющей макрополитическую общность... Идея “тысячелетней России”, сложившейся в великое государство, способное завоевать “сильные позиции в мире”, стала стержнем исторической политики» [Ефременко, Малинова, Миллер, 133]. То есть выстраивание новой модели российской истории и формирование на ее основе политики памяти потребовали включить в мифотворческую практику советское наследие.

Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева выделяют три этапа в отношении к советскому прошлому. Первый этап — 1990-е гг. Как отмечают исследователи, «в этот период не только представители власти и различных демократических партий и движений, но и обычные граждане с большим энтузиазмом стремились уничтожить все, напомилавшее об СССР (снести памятники, переименовать площади и т. д.)» [Евгеньева, Селезнева, 28–29]. Второй период связан с началом 2000-х гг. Данный период характеризуется, по выражению авторов, «фрагментарным интересом» к советскому наследию. И третий этап наступает в 2010-х гг., связан он с «системно-функциональной актуализацией» образов и символов советского прошлого. К примеру, в 2000 г. был принят новый государственный гимн. Была сохранена мелодия советского гимна, сочиненная А. В. Александровым, текст был написан С. В. Михалковым — одним из авторов слов гимна Советского Союза. В своем заявлении, посвященном принятию новой государственной символики, президент высказал мысль, что смысл государственных символов заключается в том, чтобы объединить различные периоды российской истории в единую непрерывную линию. То есть в ситуации отсутствия государственной идеологии власть стала активно использовать идею величия Советского Союза для обоснования амбиций современной России и формирования образа великой страны с уникальной культурой и духовностью, которой принадлежит множество достижений и побед,

важнейшая из которых — победа в Великой Отечественной и Второй мировой войне.

После распада СССР День Победы остался единственным праздником советской эпохи, сохранившим свое значение и отмечающимся на государственном уровне. С начала 2000-х гг., по мере укрепления власти президента, новое руководство начинает использовать мифотворческий потенциал, связанный с победой в Великой Отечественной войне, ставшей одним из самых значимых символов, демонстрирующих героизм народа и мощь государства. Принесли огромные жертвы на алтарь победы, СССР остановил распространение фашизма и внес решающий вклад в самую кровопролитную и разрушительную войну в истории человечества. Все это создало особый ореол победы Добра над Злом, соответствующий мессианскому компоненту национального политического сознания.

Для современной России Великая Отечественная война стала одним из самых значимых символов, репрезентирующих ее особую историческую роль, и одним из самых устойчивых элементов политики памяти. Как отмечает Копосов, «миф о войне стал настоящим мифом происхождения постсоветской России» [Копосов, 163]. Поэтому любые идеологические или пропагандистские заявления, отрицающие данную позицию, вызывают резкую реакцию руководства страны. Например, 19 сентября 2019 г. Европейский парламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», осуждавшую заключение пакта Молотова — Риббентропа. Согласно резолюции именно заключение этого пакта сделало Вторую мировую войну неизбежной. То есть фактически резолюция возлагала на СССР равную с нацистской Германией ответственность за развязывание войны.

Как реакция на подобные заявления, в июне 2020 г. в российской прессе появилась статья за авторством В. В. Путина, посвященная 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В статье были перечислены причины войны, а также роли различных государств в ее развязывании. Одной из главных причин, приведших к войне, В. В. Путин называет Мюнхенское соглашение 1938 г. (Мюнхенский сговор), которое, по оценке В. В. Путина, сделало Вторую мировую войну неизбежной. Заключение пакта

Молотова — Риббентропа В. В. Путин назвал ответным шагом советского руководства, получившего наглядное свидетельство нежелания европейских держав учитывать интересы СССР. В этой связи резолюцию Европарламента об оценке роли Советского Союза в развязывании войны В. В. Путин назвал скандальной. Ключевой мыслью статьи является признание победы над гитлеровской Германией заслугой СССР. В первую очередь именно советский народ одержал победу над нацизмом.

Действительно, одной из самых очевидных тенденций в мифотворческой практике и политике памяти стало обращение к советскому периоду истории и Великой Отечественной войне в частности. Отчетливо просматривается и поставленная цель — создание образа сильного государства, претендующего на лидерские позиции на международной арене и занимающего особое положение в мировой истории. Таким образом, есть все основания говорить о попытках возрождения мессианской

политической мифологии. Тем не менее существует ряд факторов, препятствующих формированию целостной мессианской мифологии. Главная причина заключается в отсутствии оригинальной идеологической системы, на основе которой могла бы возникнуть мессианская политическая мифология.

Исходя из сказанного ранее, можно сделать ряд выводов. Прежде всего необходимо отметить, что политический миф является неотъемлемым элементом в формировании коллективной памяти. Учитывая тот факт, что одной из характерных черт национальной культуры и политического менталитета является мессианизм, можно заключить, что мессианский политический миф представляет собой один из эффективных инструментов осуществления политики памяти. Однако, в условиях отсутствия общегосударственной идеологии, происходит обращение политики памяти к мессианской политической мифологии советской эпохи.

Список источников

- Баталов Э. Я. Русская идея и американская мечта. М. : Прогресс-Традиция, 2009. 384 с.
- Гагаури Д. И., Гуторов В. А. Политический миф в структуре исторической памяти // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12 : Политические науки. 2017. № 2. С. 24–45.
- Евгеньева Т. В., Селезнева А. В. Советское прошлое в ценностном и образно-символическом пространстве российской идентичности // Полис. Политические исследования. 2016. № 3. С. 25–39.
- Ефременко Д. В., Малинова О. Ю., Миллер А. И. Политика памяти и историческая наука // Российская история. 2018. № 5. С. 128–140.
- Копосов Н. Е. Память строгого режима: История и политика в России. М. : Новое лит. обозрение, 2011. 320 с.
- Шестов Н. И. Политический миф теперь и прежде. М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. 111 с.

References

- Batalov, E. Ya. (2009). *Russkaya ideya i Amerikanskaya mechta* [The Russian Idea and the American Dream]. M.: Progress-Traditsiya. 384 p.
- Gagauri, D. I., Gutorov, V. A. (2017). Politicheskii mif v strukture istoricheskoi pamyati [Political myth in the structure of historical memory]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 12. Politicheskie nauki*, 2, 24–45.
- Evgen'eva, T. V., Selezneva, A. V. (2016). Sovetskoe proshloe v tsennostnom i obrazno-simvolicheskom prostranstve rossiiskoi identichnosti [The Soviet Past in the Value and Figurative-Symbolic Space of Russian Identity]. *Polis. Politicheskie issledovaniya*, 3, 25–39.
- Efremenko, D. V., Malinova, O. Yu., Miller, A. I. (2018). Politika pamyati i istoricheskaya nauka [The politics of memory and historical science]. *Rossiiskaya istoriya*, 5, 128–140.
- Koposov, N. E. (2011). *Pamyat' strogogo rezhima: Istoriya i politika v Rossii* [Strict Regime Memory: History and Politics in Russia]. M.: Novoe literaturnoe obozrenie. 320 s.
- Shestov, N. I. (2005). *Politicheskii mif teper' i prezhdze* [A political myth now and before]. M.: OLMA-PRESS. 111 p.

Сведения об авторе

Цельковский Алексей Андреевич, кандидат философских наук, доцент кафедры философии Липецкого государственного технического университета, г. Липецк, Россия

Information about the author

Aleksei A. Tselykovskiy, Cand. Sci (Philosophy), associate professor department of philosophy Lipetsk State Technical University, Lipetsk, Russia

*Статья поступила в редакцию 15.08.2022;
одобрена после рецензирования 01.09.2022;
принята к публикации 10.09.2022*

*The article was submitted 15.08.2022;
approved after reviewing 01.09.2022;
accepted for publication 10.09.2022*

Научная статья

УДК 392.3:159.953 + 316.356.2 + 929.52(470.322) + 070.1 + 81'22

doi 10.15826/tetm.2022.3.029

«Мы сами — время»: динамика времени и смысл прошлого в нарративах семейной памяти Часть II*

Андрей Александрович Линченко

Финансовый университет при Правительстве РФ, Липецк, Россия

linchenko1@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6242-8844>

Аннотация. На основе результатов анализа нарративных интервью трех поколений жителей г. Липецка в данной статье выявлены и осмыслены особенности репрезентации семейного времени, основные типы событий семейной истории и формы преемственности семейных традиций. Способы конструирования времени и событийности были проанализированы в контексте культурных практик повседневной жизни, осознаваемых как традиции труда, быта и досуга. На основе биографического метода Ф. Шютце выявлены положительные и отрицательные кривые биографических рассказов и сопоставлены с «семейными сценариями», репрезентированными в нарративах липчан. Сочетание биографического метода Ф. Шютце и критического дискурс-анализа З. Йегера позволило нам выявить и сопоставить общие тенденции, которые оказались, с одной стороны, доминирующими в нарративах семейной памяти трех поколений липчан, а с другой — наглядно представленными в медийном дискурсе общественных коммемораций. Первой тенденцией являлся безусловный рост осмысленности семейной истории по мере увеличения возраста наших респондентов. Второй важнейшей тенденцией стало использование респондентами событий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. как своеобразной «мировоззренческой» рамки для интерпретации событий семейной истории и ее базовых смыслов. Третья тенденция — это ярко выраженное стремление уйти от осмысления трагических событий семейной истории и не критичность восприятия биографий членов семьи в эпоху репрессий 1930-х гг. Четвертой тенденцией стало абсолютное доминирование сильного типа преемственности по отношению к семейным традициям. Было выявлено, что развертывание семейной темпоральности предстает как процесс постоянного и динамического взаимодействия со смысловым пространством исторической культуры региона и ее практиками использования прошлого.

Ключевые слова: семейная память, нарративное интервью, биографический метод, семейная темпоральность, критический дискурс-анализ, медиарепрезентация времени

* Часть I см.: Tempus et Memoria. 2020. Т. 1, № 1–2. С. 53–67.

Для цитирования: Линченко А. А. «Мы сами — время»: динамика времени и смысл прошлого в нарративах семейной памяти. Ч. 2 // *Tempus et Memoria*. 2022. Т. 3, № 1. С. 29–45. doi 10.15826/tetm.2022.3.029

Благодарности: статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 20-011-00297.

Original article

“We are the Time”: the Dynamics of Time and the Sense of the Past in the Narratives of the Family Memory. Part II

Andrey A. Linchenko

Financial University under the Government of Russian Federation, Lipetsk, Russia

linchenko1@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6242-8844>

Abstract. Based on the results of the analysis of narrative interviews of three generations of residents of Lipetsk, this article identifies and comprehends the features of the representation of family time, the main types of events in family history and the forms of continuity of family traditions. The methods of constructing time and eventfulness were analyzed in the context of cultural practices of everyday life, perceived as traditions of work, everyday life and leisure. On the basis of the biographical method of Fritz Schütze, positive and negative curves of biographical stories were identified, which were compared with the “family scenarios” represented in the narratives of the people of Lipetsk. The combination of F. Schütze’s biographical method and S. Jaeger’s critical discourse analysis allowed us to identify and compare general tendencies that, on the one hand, turned out to be dominant in the family memory narratives of three generations of Lipetsk residents, and on the other hand, were clearly represented in the media discourse of public commemorations. The first trend was the unconditional growth of the meaningfulness of family history as the age of our respondents increased. The second most important trend was the use by respondents of the events of the Great Patriotic War of 1941–1945 as a kind of “worldview” framework for interpreting the events of family history and its basic meanings. The third trend was the pronounced desire to avoid comprehending the tragic events of family history and the uncritical perception of the biographies of family members during the era of repression in the 1930s. The fourth trend was the absolute dominance of a strong type of continuity in relation to family traditions. It was revealed that the deployment of family temporality appears as a process of constant and dynamic interaction with the semantic space of the historical culture of the region and its practices of using the past.

Keywords: family memory, narrative interview, biographical method, family temporality, critical discourse analysis, media representation of time

For citation: Linchenko, A. A. (2022). “My sami — vremya”: dinamika vremeni i smysl proshlogo v narrativakh semeinoi pamyati. Chast’ II [“We are the Time”: the Dynamics of Time and the Sense of the Past in the Narratives of the Family Memory. Pt. 2]. *Tempus et Memoria*, 3, 1, 29–45. doi 10.15826/tetm.2022.3.029

Acknowledgments: The article was prepared with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research, grant № 20-011-00297.

В первой части статьи на основе анализа нарративных интервью трех поколений жителей г. Липецка нами были проанализированы особенности хронологии и периодизации событий семейной памяти [Линченко]. На основе биографического метода Фритца Шютце нами были выявлены положительные и отрицательные кривые биографических рассказов, которые были сопоставлены с «семейными

сценариями», репрезентированными в нарративах липчан. Показано, что фактор возраста продолжает играть решающее значение как для особенностей динамики времени в семейной памяти, так и для хронологии и периодизации событий семейной памяти. Наличие в семейной памяти мифологизированных упоминаний о высоком социальном статусе предков оказывалось важным фактором расширения

темпоральных границ, а также способствовало усилению роли и значения «исторического фона» семейной хронологии во всех возрастных группах. На материалах интервью были проанализированы особенности «поколенческой периодизации», а также подтвержден вывод Гаральда Вельцера о явлении «кумулятивной героизации» как важного фактора структурирования семейной темпоральности.

Во второй части статьи представим завершающую часть нашего исследования, а также подробнее остановимся на особенностях осмысления событийности семейной истории и осознания преемственности с семейной традицией в транспоколенческой перспективе. Вместе с тем динамика семейного времени будет рассмотрена нами в контексте регионального дискурсивного пространства (медиа-среда), актуализирующего определенную смысловую направленность нарративов семейной памяти. В этой связи биографический подход потребовал его сочетания с дискурс-анализом, что позволило нам развернуть инструментарий, учитывающий институциональные аспекты биографических нарративов липчан.

Смысл семейной истории в нарративах трех поколений липчан

Трактовка биографического рассказа как концептуально единого и внутренне осмысленного текста в теории Ф. Шютце [Schütze 1983] позволяет поставить вопрос и об осмысленности нарративов семейной памяти. На наш взгляд, в данном случае есть все основания переносить механизмы смыслополагания автобиографического рассказа на уровень рассказов об истории семьи. Изменяется только перспектива, где рассказчик вынужден в большей мере говорить о своей семье, продолжателем (или опровергателем) традиций которой он является. В данном случае понятие «семейный сценарий» достаточно хорошо соотносится с кривыми жизненной динамики у Ф. Шютце [Schütze 1984]. Причем интерпретация рассказчиком негативного или положительного сценария семейной истории может не только передаваться от поколения к поколению, о чем писал П. Томпсон [Томпсон], но и конструироваться на уровне автобиографической памяти

рассказчика, переосмысливающего семейный опыт. В этой связи, сравнивая между собой нарративы и кривые историй семей, мы задавали вопросы об осмысленности семейной истории, о том, насколько респонденты видят себя частью процесса передачи семейного опыта, а также стремились выявить и классифицировать характерные для рассказчиков типы нарратива.

Говоря об осмысленности семейной истории в рассказах представителей молодежной группы, можно зафиксировать противоречивую ситуацию. Сравнивая рассказы, мы обнаружили, что чуть меньше половины респондентов (восемь интервью), сообщая о событиях, практически не аргументировали свое понимание семейной истории. Несмотря на то что семейной памяти, как и любой другой форме памяти, присуща избирательность, указанные рассказчики воздерживались от собственной аргументации. Они просто перечисляли факты либо в хронологическом, либо в тематическом порядке. В первую очередь это связано с возрастом наших рассказчиков, не решающихся давать оценку родным и предкам. С другой стороны, еще в девяти интервью мы видим попытки интерпретировать семейную историю, которые выглядят в большей мере как оценки, отражающие мнения старших поколений. История семей в них представлена как восходящая кривая, где трудности и утраты преодолеваются, а результатом является гордость за семью. Так, например, интервью, данное нам студенткой Юлией (18 лет), последовательно разворачивает гипертекст «Мы выжили, хотя нам было тяжело». Повествуя о «дворянской крови» своей семьи, респондент начинает описание с эпохи Петра I и насильственного переселения ее семьи в Казахстан. Далее следуют два описания, посвященных старшим родственникам, пострадавшим от сталинских репрессий: «Вообще так получилось, что во время этих репрессий трое из четырех моих прабабушек и прадедушек как бы побывали в тюрьме» (Юлия, 18 лет, студентка). Далее следует цепь рассказов, посвященных вышедшим из тюрьмы прадедушкам, участвовавшим в войне и дошедшим в 1945 г. до Берлина, а далее — небольшое возвращение во времена столыпинской реформы, когда прабабушка рассказчицы была вынуждена переселиться

на Дальний Восток. Мы сталкиваемся в тексте еще с одним гипертекстом, который можно было бы назвать «Роль мужчин в истории нашей семьи». Характерно, что данный гипертекст дополняет первый и последовательно разворачивается на примере образов дедушек, отца, брата, а кульминацией оказываются образы прадедушек, к которым рассказчица возвращается вновь, отвечая на дополнительные вопросы: *«Папа моей бабушки, то есть мой прадедушка Петр, вот он прошел всю войну, и до Берлина дошел, и вернулся домой. То есть я им сильно горжусь, восхищаюсь. Просто у меня это даже в голове не укладывается, какой сильный подвиг. Еще я знаю, что брат бабушки тоже воевал. Его забрали совсем мальчиком, то есть ему лет семнадцать было. Он, к сожалению, не дошел до конца. Вот я им, безусловно, тоже восхищаюсь. Это героический поступок. И вот благодаря этим людям мы до сих пор все живы, у нас большая семья. Все у нас хорошо благодаря вот их таким подвигам»* (Юлия, 18 лет, студентка).

В одном из интервью мы столкнулись с персональной позицией рассказчика, который, характеризуя положительные качества своих родителей, рассматривал саму передачу положительных отношений в семье как его собственный долг. Причем гипертекстом данного рассказа мог выступить заголовок «Постараюсь не разочаровать родителей». Семейная история в данном рассказе оказывается центрированной вокруг родителей респондента и не демонстрирует хронологической глубины, однако она оказывается не менее осмысленной: *«Родители хотели вырастить из меня одно, в итоге выросло совершенно другое, но им в итоге результат понравился. Они воспитали прежде всего человека мыслящего, человека, старающегося думать своей головой, выбирающего свой вектор. И вроде получилось, стараюсь не разочаровывать. Это чувство, что нельзя разочаровывать, тоже присутствует»* (Сергей, 25 лет, педагог начальных классов).

Анализируя интервью молодых липчан, мы столкнулись с еще одной вполне ожидаемой тенденцией. Половина рассказчиков явно обозначила в тексте свою готовность и понимание быть частью процесса передачи семейного опыта, в то время как ровно другая половина вообще не акцентировала внимание

на данной теме. Более того, в тех интервью, где сообщалось о «дворянских корнях» (Юлия, 18 лет, студентка), «боярском роде» (Филипп, 20 лет, студент), «давней истории на службе у царя» (Татьяна, 17 лет, студентка), а также где «дед по линии мамы составил генеалогическое древо» (Никита, 18 лет, студент), наблюдалось ярко выраженное стремление к сохранению и последующей передаче семейной идентичности. Это позволяет согласиться с ответственными исследователями, указывающими на важную роль материальных свидетельств и «коллективной работы» над семейным прошлым как факторов актуализации семейного исторического опыта у младших поколений [Городилина].

Возвращаясь к тем интервью, где позиция молодежи рассматривать себя частью процесса передачи семейного опыта не была выявлена, следует отметить, что это вовсе не означало абсолютное нежелание молодых липчан быть частью семьи и ее традиций. Более продуктивным было бы рассматривать их как стоящих в стороне от семейных традиций. Рассказчики сообщали более или менее отрывочные знания о прошлом семьи, но не стремились показать свою вовлеченность в данную историю, оставаясь нейтральными наблюдателями, констатировавшими некоторые факты семейной биографии. Любопытно, что в одном интервью рассказчик, хорошо знакомый с семейной историей, сознательно не стремится идти по пути ее преемственности, сохраняя при этом положительную эмоциональную связь со старшими родственниками. Он отмечает: *«У меня по материнской линии было очень длинное поколение военных. У меня прадед был военный летчик, генерал-лейтенант авиации, дед был полковник авиации. <...> Одно время меня очень сильно тянуло к небу, ну то есть я хотел какую-то свою профессию связать с авиацией, с небом, потому что, как я сказал, у меня дед был летчик, а бабушка, которая была его жена, она работала стюардессой, то есть она там первое время летала внутри страны, а в последние годы, когда уже стала опытнее, летала на международных рейсах. И меня вот эта тема захватывала, потому что вот у меня там семья тесно связана с небом, очень много проведено в небе. Я тоже хочу там быть, быть к этому причастен. И я хотел одно время*

поступать в летное училище в Краснодаре. Даже там, так сказать, сумели договориться, чтобы взять меня туда по благу, по связям. Но потом я как-то в последний момент, ну это было вот год назад, я передумал. Ну вот, у меня так заиграл гормон, заиграла хочуха-нехочуха. И я от этой идеи отказался. В принципе, не жалею, я так думаю» (Даниил, 19 лет, студент).

Обращаясь к кривым истории семей, выявленных нами в рассказах представителей молодежи, мы обнаружили лишь несколько случаев, когда кривая семейной истории оказывалась нисходящей. И каждый раз источниками негативной интерпретации опыта выступают различные факты семейной истории. Так, в одном случае мы столкнулись с фактом объяснения серии семейных неудач (смерти близких, разводы, инвалидности, пропажа и нахождение ребенка, неудачные беременности) действиями наговоров некоей «бабки»: *«Дедушка умер. Это было летом. Это был 2002 год. Подробностей я не помню. Но я помню, что мы были за городом с родителями, с палатками. И какая-то бабка была в лесу, проходила мимо нас. И что-то напорочила. Что-то сказала про нашу семью. Я не помню. Я была маленькая. И на следующее утро умирает дедушка. Он умер во сне»* (Юлия, 21 год, студентка). В другом случае источником нисходящей кривой рассказа оказывается советская политика по отношению к дворянству и к боярскому роду Морозовых, к которому себя причисляет рассказчик. Общий гипертекст данного рассказа можно было бы обозначить заголовком «Если бы не советское время». При этом, несмотря на активность рассказчика (Филипп, 20 лет, студент) в деле генеалогического поиска, общая череда событий семейной истории описывается как череда сложностей, выход из которых ему не вполне понятен.

Другая рассказчица, повествуя о трудностях своей семьи и в большей мере о негативных качествах некоторых членов своей семьи, несколько раз в интервью делает достаточно важный для нас вывод: *«Многие говорят, что я взяла со своей семьи все самое плохое. Вот все черты, что взять, характер, внешность. Ну все самое плохое»* (Анастасия, 19 лет, студентка). Разворачивая цепочку негативных оценок родных и делая особый акцент на атмосфере постоянного выяснения отношений, рассказчица

резюмирует следующей цитатой, не позволяющей нам в полной мере говорить о нисходящей кривой ее семейной истории: *«Я свою семью очень люблю. Я горжусь, что у меня такая история, ну очень богатая. Что у нас были и зажиточные люди, и герои военного времени, да и просто»* (Анастасия, 19 лет, студентка).

Выявленные случаи тем не менее не нарушают общую тенденцию доминирования восходящих кривых рассказа, где событийный план содержал преимущественно положительные описания и аргументацию, отсылающие к различным счастливым случаям, чудесам и нравственным качествам старших родственников и предков. При этом доминирование восходящих кривых зачастую не было связано с эмоциями гордости за семью и ее достижения. В семи интервью нами было выявлено, что при общей позитивной оценке семейного прошлого и, казалось бы, восходящей кривой она основывалась не столько на семейном историческом опыте, сколько на собственной субъективной уверенности рассказчика, что, на наш взгляд, можно полностью объяснить особенностями возраста.

Обращаясь к возрастной группе 30–50 лет, мы наблюдаем менее противоречивую картину. В этой связи нельзя не согласиться с отечественными [Городилина; Логунова; Нуркова; Омельченко, Андреева; Сапоровская; Скорик] и зарубежными [Gillis; Hirsch; History and Identity; Huisman; Kellas; Nelson] авторами, которые отмечают, что с возрастом у человека увеличивается не только пространство персонального опыта, но и появляется стремление к осмыслению своей деятельности на фоне семейной истории. Другими словами, фактор возраста оказывает существенное воздействие на формирование семейно-исторического сознания. Именно это в полной мере проявилось в процессе обработки и анализа интервью «средней» возрастной группы. Проанализировав двадцать интервью представителей данной возрастной группы, мы обнаружили только один случай (Светлана, 45 лет, продавец), когда рассказчица вообще не акцентировала внимание на осмысленности семейной истории. Весь ее рассказ выстраивается как набор описаний судеб членов семьи, главной проблемой, и в некоторых случаях причиной смерти (включая смерть ее мужа), которых оказывается алкоголь или

несчастный случай. Лишь в одном месте она останавливается и пытается переключить рассказ на описание положительных моментов. Однако в дальнейшем повествование снова переключается на описание негативных ситуаций. Показательно, что завершающий эпизод рассказа также посвящен смерти крестного рассказчицы от алкоголя в молодом возрасте и переживаниям его мамы. Также характерно, что в негативную интерпретацию цепочки смертей в семье она вписывает и смерть детей ее бабушек и дедушек в годы Великой Отечественной войны.

Данный случай оказался нетипичен для группы в целом, интервьюирование которой показало доминирование осмысленности семейной истории и потребности к ее дальнейшему познанию. В остальных случаях, когда нами было выявлено отсутствие выраженных признаков осмысленности семейного исторического опыта (семь интервью), это было связано в основном с отсутствием персонального интереса рассказчика к семейной истории, которая интерпретировалась как «обычная», «как у всех», «стандартная», «у нас все очень просто». Еще более любопытно, что отсутствие попыток осмысления семейной истории в восьми интервью из двадцати не всегда было связано с нисходящими кривыми рассказа. Только в четырех интервью мы столкнулись с тем, что незаинтересованность информантов в осмыслении семейного прошлого сопровождалась ситуацией интерпретации биографий семей как нисходящего процесса. В остальных случаях даже при условии отсутствия пассажей, указывавших на возможность какого-либо осмысления семейного прошлого, рассказчики демонстрировали восходящие кривые опыта семейной биографии, связывая это то с «гордостью за мужа, дочерей» (Людмила, 48 лет, лаборант-химик), то с «бабушкой, которая объединяла нас всех» (Валентина, 50 лет, медсестра), то с тем, что «в общем, как-то живем хорошо, в достатке, любим и любимы» (Оксана, 37 лет, воспитательница) или «живем как все и надеемся на детей» (Светлана 50 лет, электрик-монтер).

Также достаточно ожидаемыми выглядели результаты сравнительного анализа интервью в отношении осознания рассказчиками себя частью процесса передачи семейного

исторического опыта. В пятнадцати из двадцати интервью было выявлено осознанное стремление передавать семейные традиции младшему поколению. Правда, в интервью речь шла не о семейной традиции вообще, а о какой-то наиболее важной, с точки зрения рассказчика, части семейного опыта, актуальной для рассказчика практике. В большинстве случаев осознанность процесса передачи семейного опыта концентрировалась вокруг нравственных качеств семей: порядочность, честность, ответственность. То есть речь шла о преемственности семейных отношений как о главной ценности семейного опыта (девять интервью). Еще в нескольких случаях нами было выявлено осознанное стремление к передаче семейного опыта, выраженное в активности рассказчиков в рамках генеалогического поиска (три интервью). В одном из них рассказчица, рассматривая семейный исторический опыт в рамках гипертекстов «Мои родители — моя гордость» и «Наше счастливое детство», завершает рассказ описанием преемственности семейных практик выпекания пасхальных куличей и характеризует эту преемственность как «свою миссию»: *«Пасха для нас семейный праздник. Куличи готовим. В чистый четверг я прихожу с работы и мы начинаем красить яйца. Мама без меня не начинает. В пятницу мама начинает печь куличи, рецепт у нее остался еще от бабушки. Раньше это делала бабушка Маша. Я помню, что я приходила со школы, а они уже стояли готовые. Пышные. С помадкой. Посыпанные цветным зерном. И сейчас эта традиция сохраняется. Мы печем куличи, красим яйца, и в субботу я хожу их освящать в церковь. Почему-то мне досталась эта миссия, которую я исправно выполняю»* (Светлана, 34 года, инженер). При этом в указанных трех интервью мы не обнаружили отсылок к «родовитости», «дворянских корням» и проч. Источником активности в сфере семейной генеалогии скорее выступало ощущение своего возраста, актуализировавшее генеалогическое сознание. В двух других интервью вопрос об осознании преемственности не ставился, однако рассказчики указывали на необходимость передачи традиций в связи с «находкой старого фотоальбома», а также «измельчанием семьи». Только в одном случае нами был зафиксирован факт преемственности

трудовых традиций. В нашем случае речь идет об интервью Валерия (44 года), три поколения мужчин в семье которого были военными летчиками.

Не меньшей спецификой обладают и те интервью, где нами было выявлено в большей мере отрицательное отношение к процессу передачи семейных традиций. В трех интервью это было вызвано отсутствием интереса к семейному прошлому как таковому, а в двух других рассказы представляли собой описания череды смертей родственников и несчастных случаев. Это не только умаляло тему преемственности, но и, согласно особенностям сюжета рассказов, делало ее практически бессмысленной.

Показательно, что абсолютное большинство «кривых» историй семей, выявленных нами в рассказах группы «родителей» (30–50 лет), могут быть охарактеризованы как восходящие. Только в одном интервью, о котором мы писали выше, была выявлена противоречивая ситуация, связанная с цепочкой смертей и неудач. Однако последующая фаза расспросов не выявила признаков нисходящей кривой (Алина, 30 лет, медсестра). Скорее данный случай может быть охарактеризован как балансирующий между восходящей и нисходящей кривыми. Похожую ситуацию мы обнаружили еще в одном интервью, где рассказчица (Светлана, 45 лет, продавец) сложила повествование в рамках двух основных гипертекстов: «Моя бабушка — мое детство» и «Несчастья нашей семьи — гордиться нам нечем». О ее интервью мы писали выше. Еще в двух случаях мы не смогли четко зафиксировать направленность «кривых» рассказов в связи с тем, что рассказчики позиционировали свои семейные истории как «очень простые», «обыденные». В этих случаях мы столкнулись с заметным дефицитом информации, а также практически полным отсутствием описаний и аргументаций со стороны рассказчиков.

Источниками данных восходящих кривых сами рассказчики признавали положительные отношения в семье, заботу о детях и передачу ценностей, умение преодолевать трудности. Тем не менее в одном интервью мы столкнулись с достаточно противоречивым объяснением сложной истории семьи, кривая рассказа о которой являлась восходящей. Так, один

из уже упомянутых нами рассказчиков, повествуя о положительной истории семьи по линии отца (военный летчик) и крайне негативной истории семьи по линии матери (репрессированные русские немцы), не стремится объяснить оба случая как следствие единой эпохи. Трагический опыт его семьи по линии матери так и остается непроясненным, в то время как в отношении удачной карьеры отца он заявляет следующее: *«Естественно, участник Великой Отечественной войны, орденоносец. Благодаря Сталину и Берии он оказался в летном училище. Благодаря Сталину и Берии стал полярным летчиком»* (Валерий, 44 года, отставной летчик).

Восходящие и нисходящие кривые семейных рассказов не всегда являются питательным источником для мифологизации. Рассмотренный выше пример умолчания в интервью Валерия не единственный. Еще в двух интервью, где не были выявлены однозначно восходящая или нисходящая кривые, мы столкнулись с фактом простого перечисления цепочки трагических событий без каких-либо аргументаций и отсылок к чему-либо «сверхъестественному», «тайному», «судьбоносному». Наоборот, в интервью с восходящими кривыми нами были выявлены несколько вариантов мифологизации положительной семейной динамики. В большинстве случаев успехи семьи в прошлом объяснялись влиянием «судьбы» или «совокупности счастливых случайностей».

В нескольких интервью успехи семьи объяснялись огромной ролью одного из старших родственников (мама, бабушка, дедушка), нравственные качества, профессиональные успехи или прозорливость которых позволяли говорить рассказчикам о современных успехах их семей. В одном случае рассказчица особо отмечает «ответственность семьи» в качестве своеобразной мифологии ее успеха. Она отмечает: *«У моего папы, получается, сколько, две сестры и четыре брата. Ну они настолько, как сказать, рукодельные. Ну талантливы во всех сферах. То есть кто-то столяр, кто-то плотник, а они в одном лице и столяры, и плотники, и слесари, и механики. И могут косить. К сожалению, мой папа умер. Он мог косить, и кашу варить, и щи сделать. Вообще вся эта семья очень ответственная друг за друга. Вот, если возникала какая-то беда, какая-то*

проблема — все собирались, решали эту проблему» (Оксана, 44 года, предприниматель). Показательно, что одним из гипертекстов последующего рассказа как раз оказывается тема «Мы — очень ответственная семья», раскрытие которой происходит на фоне другого гипертекста: «Было тяжело, но мы справились», который, по сути, рисует нам серию описаний и рассказов, подтверждающих центральную мифологизированную идею описания семейной биографии.

Тенденция роста осмысленности семейной истории становится еще более заметной при обращении к возрастной группе 50 лет и старше. Только одно интервью из тринадцати представляло собой нетипичный случай, когда рассказчик, описывая «очень печальную и грустную историю», стремился к осмыслению не столько своей семейной памяти, сколько собственной жизни, вводя в рассказ малосвязанные эпизоды двух своих неудачных браков и сложных отношений с детьми. Все остальные рассказчики не только преподносили биографии семей как осмысленные, но, что еще более важно для нас, стремились увязать эту осмысленность с историческими событиями. В других случаях это связывалось с генеалогией (или воображаемой генеалогией) рода, восходящей к именитому купцу, промышленнику или георгиевскому кавалеру. В некоторых случаях трагические страницы жизни членов семьи и их участие в войнах, которые вела Россия в XX в. (включая Гражданскую войну и революцию), осмысливались как «не случайные», как примеры «искупления» или проявления «счастливой судьбы». При этом центральное значение для осмысления семейной истории в большинстве рассказов данной возрастной группы имеют события Великой Отечественной войны.

Характерно, что практически во всех интервью мы наблюдаем своеобразное разделение времени на до и после войны, проходящее во всех секвенциях, посвященных именно семье и старшим родственникам. Достаточно ожидаемым также было обнаружить осознанное стремление рассказчиков рассматривать себя частью процесса передачи семейных традиций. В большинстве интервью это обозначалось в рамках аргументаций о ценностях семьи и их значении для подрастающего поколения. Только

в трех интервью мы обнаружили стремление критически оценивать современную молодежь. В большинстве случаев описания и аргументации свидетельствовали об определенной надежде на то, что младшее поколение сохранит и передаст семейный исторический опыт.

Сравнительный анализ кривых историй семей, выявленных нами в процессе обращения с интервью в возрастной группе старше 50 лет, показал доминирование восходящих кривых, основным лейтмотивом которых может быть высказывание «Нам было тяжело, но мы выстояли» или «Мы держимся за старое и на том стоим». Несмотря на сообщения о трагических фактах, смертях на фронтах мировых и гражданских войн и даже трагических событиях раскулачивания, наши рассказчики не стремились к негативной переоценке своего жизненного опыта и, что еще более важно, истории страны. Восходящие кривые биографий семей в устах старшего поколения положительно осмысливаются не вопреки, а внутри той общественной системы отношений, в которой они живут.

Типы нарративов

Не меньший интерес имеет и общий взгляд на типологию семейных рассказов. В данном случае в отечественной и зарубежной науке предлагались и предлагаются различные варианты классификации и типологизации, специфика которых связана с самой целью исследования. И здесь действительно важен сам предмет исследования. Так, например, в одной из наиболее известных книг в Германии, посвященных теме семейной памяти, проблемы типологизации рассматриваются в контексте отношения разных поколений к нацистскому прошлому семей или к их трагическому прошлому как жертв. Рассматривая истории страдания и истории героического как типы передачи семейного опыта (модели рассказов), зарубежные авторы Харальд Вельцер, Сабине Моллер и Каролине Тшугналл выделяют пять стратегий рассказа: жертвенность, одобрение, дистанцирование, восхищение, торжественность [«Ora war...», 81]. На наш взгляд, подобные стратегии рассказа необходимо анализировать не столько как присущие самой семье, сколько как дискурсивные стратегии, циркулирующие в том

пространстве исторической культуры, в котором живет семья.

Выше мы попытались связать осмысленность рассказов о семейном прошлом с восходящими и нисходящими кривыми, которые, таким образом, оказывались способом интерпретации различных семейных сценариев. Однако типология семейных рассказов, связывающая их с восходящими и нисходящими кривыми, доминированием положительного или отрицательного исторического опыта, вряд ли может считаться полной, поскольку в меньшей мере обращена к специфике самой активности субъекта семейной памяти. В этой связи в работе М. В. Городилиной утверждается существование как минимум двух основных типов семейной идентичности в контексте биографической памяти поколений. В случае «кризисной» идентичности молодежь безразлично или негативно оценивает свое членство в семье, не ощущает тесную связь с ней и не желает идентифицировать себя с ее прошлым. Наоборот, в случае «зрелой» идентичности молодежь проявляет позитивное эмоциональное отношение к прошлому семьи, стремится познать биографию поколений семьи и ощущает высокую степень причастности к семейному историческому опыту [Городилина, 132].

В нашем случае анализ интервью показал, что представленная классификация безусловно оправдана, однако может быть уточнена в связи с тем, что часть молодых людей не проявила ни положительного, ни сугубо отрицательного отношения к семейной истории. Восемь из семнадцати интервью в молодежной среде скорее указывали на некую промежуточную форму отношения к семейному прошлому, содержащему некоторые знания о семье, но при отсутствии большого интереса и эмоциональной вовлеченности, а в некоторых случаях допускавшей избирательность отношения только лишь к какой-либо части биографии семьи. Так, в одном из интервью мы столкнулись с высоким уровнем знаний об истории семьи, со стремлением изучать историю рода, но только со стороны мамы, в то время как об отце и его родных демонстративно не было сказано ни слова.

В случае наших интервью, собранных в группе молодых липчан, мы могли бы говорить как минимум о трех типах семейного рассказа.

Во-первых, большинство рассказчиков демонстрировали высокую степень преемственности семейных традиций, хотя в каждом случае наблюдалась своя специфика. Объектом преемственности могли являться трудовые традиции в семье, но в большей мере речь шла о практиках быта и досуга, а также о преемственности нравственных качеств членов семьи. В таком случае мы можем говорить о первом типе рассказа, содержащего указания на высокую степень преемственности с семейным прошлым. Во-вторых, семь из семнадцати рассказчиков, как мы уже отмечали выше, не столько отрицали свою связь с семейной историей, сколько крайне инертно сообщали факты, высказываясь относительно них достаточно нейтрально. В таком случае мы уже говорим о втором типе рассказа, указывающем на слабую преемственность с семейной историей. И наконец, третий тип рассказа, обнаруженный нами только у одного респондента, являл собой достаточно негативное отношение и стремление к разрыву семейных традиций, воплощенных, по мнению рассказчика, в отрицательных нравственных качествах его родителей. При этом в каждом типе рассказа преемственность с семейной историей или ее отсутствие были связаны с какой-либо отдельной стороной повседневности, практиками труда, быта, досуга или образами старших родственников, а также с самими положительными отношениями в семье. В данном случае определяющими как раз являются субъективная позиция рассказчика, его симпатии и антипатии, а самое главное — его текущее социальное положение и включенность в соответствующие культуры воспоминаний. Это полностью согласуется с предшествующими исследованиями коллег из ФРГ, в работах которых неоднократно подчеркивалось, что «даже отдельный представитель семьи может конструировать “семейную память” через различные версии “семейной истории»» [“Ora war...”, 20] и что «единство какой-либо семейной истории заключается не в единой истории, но в непрерывности и целостности обстоятельств и актов собственного воспоминания» [Kerpler, 207].

Далее мы обратились к следующему поколению наших рассказчиков (30–50 лет). Однако и здесь мы не обнаружили ни одного примера отрицательного отношения к семейным

традициям. Наоборот, в двенадцати интервью из двадцати нами был выявлен тип сильной преемственности с различными составляющими семейной традиции. Даже в уже упоминаемом выше случае рассказчицы речь шла о череде негативных описаний, что не давало ей повода отказываться от семейного исторического опыта. Более того, ее негативное отношение к отцу не бросает тень на всю историю ее семьи, где его место заменил отчим: *«Про такого отца не было ни слуха ни духа. Алиментов он не платил с того момента, как разошлись, наверное, ни разу... Ну даже с днем рождения не поздравлял, ну, в общем, всерьез я его не воспринимала, потому что, когда мама от него ушла, мне было четыре года, а лет с пяти моим воспитанием занимались уже мама и отчим»* (Алина, 30 лет, медсестра).

Еще в одном случае мы не выявили ни одной семейной традиции, преемственностью которой мог бы гордиться рассказчик. Однако в его интервью мы обнаружили несколько аргументаций, свидетельствующих о заботе по отношению к детям как о важнейшей ценности семейного исторического опыта, передаваемой из поколения в поколение (Антон, 32 года, сварщик). В отличие от молодежной группы в данной возрастной среде более актуальными в фокусе рассказов оказались трудовые традиции. Так, в четырех интервью из двенадцати, где нами был выявлен сильный тип преемственности, мы столкнулись с трудовыми династиями (инженеры на Новолипецком металлургическом комбинате, работа в органах госбезопасности, военная авиация, парикмахерские услуги). В остальных интервью с сильным типом преемственности доминировали традиции быта и досуга, воплощенные в особом качестве семейных отношений, а также в совместных практиках празднования светских и религиозных праздников. Особая сторона семейного опыта, с которой в данном случае соотносили себя большинство рассказчиков, была связана с их детьми. Именно из перспективы детей и последующего потомства как важнейшего фактора семейной традиции и преемственности смотрят на семейные истории наши рассказчики из группы «родителей». Данное обстоятельство совершенно не удивительно в силу возраста наших рассказчиков. Так, в одном

из интервью, в котором до трети рассказа оказалось посвящено ребенку, рассказчица завершает последнюю секвенцию высказыванием о ребенке как о «семейной реликвии» (Юлия, 32 года, медсестра).

Обращаясь к старшему поколению в возрасте после 50 лет, мы также обнаружили доминирование типа сильной преемственности, что было для нас ожидаемым. В данном случае еще более актуальными оказываются трудовые традиции, объяснение чему находим в социальном происхождении наших рассказчиков. Большинство из них являются выходцами из крестьянской среды. Только в трех случаях мы выявили иные формы осознания преемственности с семейным прошлым. В одном случае речь шла об утраченной фактически и обретенной в воспоминаниях традиции рода Демидовых, с которым себя, по его словам, соотносил рассказчик: *«Там у нас ходит легенда. Фамилия у мамы девичья — Демидова. А легенда ходит: еще в петровские времена, когда был царь Петр I, были такие купцы Демидовы. Они поехали на Урал. Урал — это где Уральские горы. И нашли там железные руды и построили много заводов. Они стали богатыми. Стали выплавлять и чугун, и сталь, и медь. Продавали государству — разбогатели. Недаром есть такое название — Демидовские заводы. И вот ходит легенда, что мамин род и есть род Демидовых. Да. Она приехала в Липецк. Вышла замуж, и фамилия стала другая»* (Владимир, 53 года, рабочий НЛМК). В нескольких случаях речь шла о преемственности традиций досуга и в первую очередь о семейных праздниках. Показательно, что в двенадцати из тринадцати интервью мы столкнулись с чередой положительных эмоций, выраженных в описаниях праздников. Рассказчики останавливали ход повествования и начинали детально рассказывать о различных семейных собраниях по поводу дней рождений, свадеб или юбилеев семьи.

Итак, результаты нашего исследования позволили выявить целый ряд наиболее общих тенденций семейной памяти и специфики ее темпоральности в нарративах трех поколений липчан. Первой тенденцией являлся безусловный рост осмысленности семейной истории по мере увеличения возраста наших респондентов. Второй важнейшей тенденцией стало использование респондентами событий

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. как своеобразной «мировоззренческой» рамки для интерпретации событий семейной истории и ее базовых смыслов. Можно также говорить о том, что значение данной рамки усиливалось с увеличением возраста наших респондентов. Третьей тенденцией, зафиксированной нами в разных возрастных группах, стали ярко выраженное стремление уйти от осмысления трагических событий семейной истории и не критичность восприятия биографий членов семьи в эпоху репрессий 1930-х гг. Четвертой тенденцией, значимо заявившей о себе, стало абсолютное доминирование сильного типа преэминентности по отношению к семейным традициям.

Медийное пространство и семейные коммеморации в Липецкой области: опыт дискурс-анализа

Наш основной тезис состоит в невозможности рассматривать динамику темпоральности семейной памяти и ее нарративы вне окружающего социального контекста. Отталкиваясь от конструктивистской перспективы исследования, мы обнаруживаем семейную память в качестве динамического поля смыслов и практик семейного исторического опыта, располагающегося между автобиографической памятью индивида и исторической культурой. Наша точка зрения состоит в том, что историческая культура является не просто посредником, но активной средой, которая осуществляет взаимодействие между различными типами знания о прошлом и формами памяти сообществ, а также присущими им ценностными основаниями в отношении к прошлому. В таком случае семейная память оказывается одновременно одной из сред данной циркуляции, но также и оказывается под влиянием этой циркуляции образов прошлого, помещающей семейные воспоминания в новые интерпретативные контексты. Ключевое значение в этой связи приобретает медийная среда, исследования влияния которой на коллективные воспоминания становятся все более популярными в *memory studies* [Сафронова; Digital Memory; Erll, Rigny; Garde-Hansen].

Как показывают многочисленные исследования медиапространства коллективной

памяти, одним из наиболее эффективных методов изучения продолжает оставаться дискурс-анализ. В нашем случае мы стремились соединить дискурс-анализ и биографический подход. В этой связи важной является мысль Е. Ю. Рождественской о том, что биография имеет «двойную структуру». С одной стороны, биография обусловлена институциональными практиками, а с другой — является результатом конструирования Я-концепции ее носителя [Рождественская, 74]. Отталкиваясь от идей Е. Ю. Рождественской, О. И. Зевелева смогла осуществить комбинацию биографического подхода Г. Розенталя и критического дискурс-анализа З. Йегера в процессе исследования идентичности русских немцев в ФРГ [Зевелева]. «Критический дискурс-анализ может стать... дополнительным инструментом, с помощью которого в частных биографиях исследователь сумеет вычленить общие социальные тенденции. В большинстве современных биографических исследований общее вычленяется из специфического с помощью построения типов биографий, но обращение к дискурсам в обществе может послужить дополнительным ресурсом для понимания “общего” и как оно влияет на специфическое» [Там же, 20].

Опыт российских исследователей чрезвычайно важен для нас в нашей попытке соединить биографический метод Ф. Шютце (в применении к семейной памяти липчан) и критический дискурс-анализ З. Йегера (в применении к медийной среде в Липецкой области). Как известно, методология критического дискурс-анализа З. Йегера позиционировалась им как прямое применение идей М. Фуко в области изучения влияния дискурсивных практик на общество. Немецкого исследователя интересовало, как возникает легитимное знание и каковы его функции в процессах конструирования социальных отношений. Сам З. Йегер определял знание как «любые формы содержания сознания, а также значения, используемые субъектами для интерпретации окружающей реальности на данном историческом периоде времени» [Jäger, 33]. Немецкий теоретик использует определение дискурса, данное Ю. Линком, отмечая, что дискурс есть «институционально консолидированный язык, определяющий структуру социальных действий и тем самым влияющий на отношения власти

в обществе» [Jäger, 34]. В данной статье мы не будем подробно излагать описание схемы метода дискурс-анализа З. Йегера и Ф. Майера, поскольку она хорошо представлена в самих публикациях авторов [Ibid.], а также неоднократно описывалась и применялась в российской научной литературе [Зевелева; Переверзев]. Укажем только, что основной задачей данного метода является анализ типичных текстовых фрагментов (фрагментов дискурсов), репрезентированных в символическом пространстве и содержащих различные виды отсылок на одну тему. Данная тема выступает в качестве своеобразной дискурсивной нити (*discursive strand*), которую немецкий исследователь определяет как сумму текстовых фрагментов как фрагментов дискурса на одну тему [Jäger, 38]. В нашем случае такой общей темой оказывается тема семейной памяти и ее преемственности.

Продолжающаяся пандемия внесла существенные коррективы в коммеморативные практики, реализуемые как государством, так и негосударственными акторами политики памяти в стране. Подробный разбор влияния пандемии на основное событие официальной политики памяти, празднование юбилея Победы в 2020 г., читатель найдет в статье В. Бешкинской и А. Миллера [Бешкинская, Миллер]. С другой стороны, онлайн-формат создает уникальную возможность оценить и проанализировать многочисленное поле источников, репрезентирующих дискурс региональной политики памяти и ее практики, поскольку абсолютно все акции и мероприятия оставляли свои следы в Интернете. В этой связи мы постарались проанализировать все основные медиаресурсы Липецкой области, которые оказались представлены следующими группами сайтов: 1) новостные медиапорталы и интернет-версии липецких газет (Lipetskmedia, Липецкое время, Gorod48, ГТРК Липецк); 2) сайты учреждений культуры и общественных организаций (Липецкая областная универсальная научная библиотека, Липецкий историко-культурный музей, Центральная городская библиотека имени С. А. Есенина, Центр патриотического воспитания); 3) сайты государственных учреждений (Управление культуры и туризма Липецкой области, Управление образования и науки Липецкой области). Мы проанализировали

все упоминания о семейной памяти, а также о различных видах семейной коммеморации, которые появлялись на указанных сайтах в 2019–2021 гг. (193 ссылки). Выбор данного хронологического периода был связан с рамками нашего собственного исследования (2020), а также включал в себя годы, которые предшествовали (2019) и следовали (2021) за юбилейным 2020 годом, связанным с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Как мы и ожидали, на юбилейный 2020 год пришлось 69 % всех интернет-ссылок. Большая часть ссылок была выявлена на порталах Lipetskmedia и Липецкое время, которые являются основными медиаресурсами региона.

В рамках методологии З. Йегера и Ф. Майера нами был проведен структурный анализ, который позволил проанализировать описания типов текстов, выявить основные темы, их заголовки и подзаголовки, элементы передаваемых структурных значений каждого блока информации. Далее нами были проанализированы основные риторические средства релевантных информационных сообщений (виды и формы аргументаций и аргументативных стратегий, логика и композиция, импликация и инсинуация, коллективный символизм и метафоры в языке). На основе сравнения изученных информационных источников нами были выделены типичные фрагменты дискурса. Одним из наиболее ярких примеров в этой связи выступает информационное сообщение об истории семьи жительницы Добринского района Елены Жилинской [Выступление в Кремле...]. Кодирование ее биографического рассказа, представленного на сайте, позволяет увидеть восходящую структуру, в центре которой стоит идея семьи, достойно прошедшей все трудные моменты истории своей страны, воспитавшей следующее поколение отважных тружеников и воинов.

Характерный момент в данной истории — отсутствие акцента на «сложные» периоды советской истории (периоды голода, репрессии, политические кампании, факты социальной несправедливости), которые оказались либо незначительными моментами в семейной биографии, либо не затронули семью вообще, либо не оказались в фокусе внимания рассказчицы и журналиста в момент их беседы.

Показательно, что в рассказе каждый исторический эпизод истории семьи разворачивается в рамках соответствующей эпохи истории России XX в. и завершается описанием какой-либо удачной для семьи ситуации, что позволяет интерпретировать сумму фрагментов как описание истории успешной семьи, где служение Родине и хорошие дела всегда приносят удачу следующим поколениям. Сходная структура нарратива была обнаружена в информационном сообщении о семейной истории липецкого депутата и бизнесмена Николая Борцова [«Каждый уголок...»]. Центральным событием, выделяемым во всех представленных в медиа семейных историях, является тема Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Вместе с тем выявленные фрагменты дискурса вряд ли можно считать чем-то уникальным для Липецкой области. В данном случае мы имеем дело с общероссийскими тенденциями трансформации общественных коммемораций, центрированных в последние годы исключительно вокруг темы Победы в войне.

Российские исследователи В. Бешкинская и А. Миллер подробно проанализировали данные тенденции, которые могут в полной мере быть обнаружены не только на федеральном, но и на региональном уровнях [Бешкинская, Миллер]. Первая тенденция была связана с тем, что память о Победе к 2020 г. превратилась не только в единственный миф-основание существующей политической системы, но и в важнейший символ образовательной политики, важнейшей воспитательной целью которой стало развитие чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества. Вторая тенденция ознаменовала переход к героизации подвига каждого отдельного участника войны через целый набор официальных интернет-ресурсов. Третья тенденция, по мнению отечественных исследователей, состоит в своеобразном сдвиге внимания на тему тыла и его вклада в победу. Более того, «лейтмотивом Года памяти и славы стала героизация подвига не только фронтовиков, не только тружеников тыла, но всех, “чья повседневная жизнь в годы войны уже стала подвигом”. Понятие героического расширилось до тех пределов, когда буквально (а не только фигурально) каждый российский школьник смог бы найти героическое в семейном

прошлом и артикулировать в публичном пространстве историю своего героя/героев хотя бы в одной, а лучше в нескольких из сотен все-российских или локальных акций, созданных специально для этого» [Бешкинская, Миллер, 73]. Четвертая тенденция являет себя в «продлении возраста героев» и включении в ранг героев как детей войны, так и ветеранов всех остальных военных конфликтов. Наконец, пятая тенденция оказалась связанной с «былизацией» войны в новых кинопроектах, где историческая достоверность отходит на второй план по сравнению с эмоционально насыщенным контентом.

Тенденции трансформации памяти о Победе в войне, выявленные и проанализированные нашими коллегами, помогли нам завершить дискурс-анализ медийного пространства Липецкой области и выявить специфику дискурсивной нити, характерной для региона. Критический дискурс-анализ источников показал, что тема семейной памяти стала основной для большинства (87 %) информационных сообщений, коммеморативных акций и отдельных практик. В особенности это касалось празднования 75-летия Победы в войне [День Победы...]. В данном случае не надо забывать, что Липецкая область — это регион, ориентированный преимущественно на сельскохозяйственную деятельность, где городское население (города Липецк, Елец, Грязи, Данков) в последние полвека росло преимущественно за счет миграции из деревни в город. Традиционные установки на семейную культуру и семейные связи до сих пор являются важным отличием социально-психологической среды в области. Как и повсюду в стране, центральную роль в системе общественных коммемораций в Липецкой области играет память о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., не только присутствующая в коммеморациях, репрезентирующих непосредственно данное событие, но и выступающая основным нарративом в других аспектах городской и сельской памяти (коммеморации традиций металлургической промышленности, коммеморации Липецкого авиацентра, коммеморативные мероприятия в парках, садах и усадьбах Липецкой области). Характерно, что нами была выявлена своеобразная попытка символической конкуренции Липецкой области за право

считаться первым регионом, реализовавшим еще в советское время практику акции «Бес-смертный полк» [Меньшикова].

Важной особенностью дискурсивного пространства медиарепрезентаций семейной памяти в Липецкой области является стремление уйти от сложных и противоречивых страниц российской истории XX в. В данном случае только в 6 % информационных сообщений нами были обнаружены упоминания о репрессиях и их месте в биографиях семей. При этом ни в одном сообщении речь не шла об опыте переосмысления или о призыве к нему. Трагические обстоятельства российской истории преподносились как нечто «судьбоносное», как водоворот событий, в котором семья оказывалась не субъектом свершения, а объектом воздействия исторических событий. Тенденция отсутствия направленности на развитие критического семейно-исторического сознания была выявлена в процессе анализа большинства коммеморативных акций и практик, прошедших в области в интересовавший нас хронологический период. В большинстве случаев речь шла либо о визуализациях ушедших родственников, либо о публикации части их воспоминаний, либо о символических актах (например, акции «Сады памяти», «Память сильнее времени), где основной акцент делался на высаживании деревьев, написании письма родственнику-фронтовику, украшении жилища. Совершенно справедливо также можно говорить о стремлении к выстраиванию сильной преемственности семейных коммемораций в исторической политике властей Липецкой области.

Таким образом, сочетание биографического подхода и методологии дискурс-анализа позволило нам выявить и сопоставить общие тенденции, которые оказались, с одной стороны, доминирующими в нарративах семейной памяти, а с другой — наглядно представленными в медийном дискурсе общественных коммемораций. Развертывание семейной темпоральности в таком случае предстает как процесс постоянного и динамического взаимодействия со смысловым пространством исторической культуры региона и ее практиками использования прошлого. Сама

семейная память оказывается одной из сред циркуляции образов и практик исторической культуры, но одновременно и формируется под влиянием этой циркуляции, помещающей семейные воспоминания в новые интерпретативные контексты. Однако взгляд на данные контексты в региональном измерении всегда оказывается двойственным, учитывающим конкретный случай индивидуальной биографии семьи и автобиографической памяти ее носителей, а с другой стороны, обращенным к институциональным средам общественных коммемораций региона.

Результаты нашего исследования позволили выявить целый ряд наиболее общих тенденций трансформации семейной памяти и специфики ее темпоральности в нарративах трех поколений липчан. Первой тенденцией являлся безусловный рост осмысленности семейной истории по мере увеличения возраста наших респондентов. Второй важнейшей тенденцией стало использование респондентами событий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. как своеобразной «мировоззренческой» рамки для интерпретации событий семейной истории и ее базовых смыслов. Можно также говорить о том, что значение данной рамки усиливалось с увеличением возраста респондентов. Третьей тенденцией, зафиксированной нами в разных возрастных группах, стали ярко выраженное стремление уйти от осмысления трагических событий семейной истории и нескритичность восприятия биографий членов семьи в эпоху репрессий 1930-х гг. Четвертой тенденцией, значимо заявившей о себе, стало абсолютное доминирование сильного типа преемственности по отношению к семейным традициям. Предпринятый нами дискурс-анализ медийного пространства позволил выявить сходные тенденции в практиках публичной репрезентации семейного прошлого в регионе. Это позволяет не только говорить о конструировании семейной памяти инструментами официальных коммемораций, но и утверждать необходимость для исторической политики учитывать своеобразие культур памяти в регионе, воспроизводимых в том числе и в рамках семейного исторического опыта.

Список источников

- Бешкинская В., Миллер А. Страдания, подвиг тыла и общая ответственность за войну // Россия в глобальной политике. 2020. № 5 (105). С. 60–88.
- Выступление в Кремле, польское «наследство» и Сталинград: семейная сага пяти поколений // Lipetskmedia. 07.11.2021. URL: <https://lipetskmedia.ru/news/society/154019-Vistuplyeniye/> (дата обращения: 06.12.2021).
- Городилина М. В. Семейная идентичность современной молодежи в контексте биографической памяти поколений: дис. ... канд. психол. наук. Москва, 2017. 192 с.
- День Победы дистанционно и онлайн: полный гид мероприятий в Липецкой области // Lipetskmedia. 02.05.2020. URL: https://lipetskmedia.ru/news/society/130500-Dyen_Pobyedi/ (дата обращения: 06.12.2021).
- Зевелева О. И. Биографический метод и дискурс-анализ: перспективы сочетания // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 2014. № 39. С. 7–39.
- «Каждый уголок наполнен любовью»: Николай Борцов рассказал о родном доме в День семьи // Lipetskmedia. 08.07.2021. URL: https://lipetskmedia.ru/news/society/148983-_Kazhdiii_ugolok/ (дата обращения: 06.12.2021).
- Линченко А. А. «Мы сами — время»: динамика времени и смысл прошлого в нарративах семейной памяти. Ч. 1 // Tempus et Memoria. 2020. Т. 1, № 1–2. С. 53–67.
- Логунова Л. Ю. Социально-философский анализ семейно-родовой памяти как программы социального наследования: дис. ... д-ра философ. наук. 09.00.11. — социальная философия. Кемерово, 2011. 267 с.
- Меньшикова Э. «Бессмертный полк» вышел в Липецкой области еще в 1985 году // Lipetskmedia. 08.05.2019. URL: https://lipetskmedia.ru/news/society/115182-_Byessmyertniii/ (дата обращения: 06.12.2021).
- Нуркова В. В. Сверхъестественное продолжается: психология автобиографической памяти личности. М. : Изд-во УрАО, 2000. 320 с.
- Омельченко Е. Л., Андреева Ю. В. Что остается в семейной памяти: память о советском сквозь разговор трех поколений // Социол. исслед. 2017. № 11. С. 147–156.
- Рождественская Е. Ю. Биографический метод в социологии. М. : Издат. дом ВШЭ, 2012. 381 с.
- Томпсон П. Семейный миф, модели поведения и судьба человека // Хрестоматия по устной истории / общ. ред. В. М. Лоскутовой. СПб. : Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2003. С. 110–146.
- Переверзев Е. В. Критический дискурс-анализ: от теории к практике // Язык. Текст. Дискурс. 2009. № 7. С. 105–116.
- Сафронова Ю. А. Историческая память. Введение : учеб. пособие. СПб. : Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2019. 220 с.
- Сапоровская М. В. Поколения в семье: методология, теория и практика исследования // Вестн. Курск. гос. ун-та им. Н. А. Некрасова. Серия : Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. 2012. Т. 18, № 1. С. 170–174.
- Скорик А. П. Семейные и индивидуальные микроистории как поиск индивидуальной и коллективной идентичностей (на материалах Донского региона) // Ставропол. альм. Рос. о-ва интеллектуал. истории. 2013. № 14. С. 96–109.
- Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition / ed. by A. Hoskins. London : Routledge, 2017. 326 p.
- Erl A., Rigny A. Introduction: Cultural Memory and its Dynamics // Mediation, remediation, and the dynamics of cultural memory / ed. by A. Erl, A. Rigney. Berlin ; N. Y. : Walter de Gruyter, 2009. P. 1–15.
- Garde-Hansen J. Media and Memory. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 2011.
- Gillis J. R. A World of Their Own Making. Myth, Ritual, and the Quest for Family Values. Cambridge : Harvard University Press, 1996. 336 p. Text: immediate.
- Hirsch M. Family frames: Photography, narrative, and postmemory. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1997. 304 p.
- History and Identity in the Narratives of Rural Elders / L. T. Dorfman, S. A. Murty, R. J. Evans [et al.] // Journal of Aging Studies. 2004. Vol. 18, iss. 2. P. 187–203.
- Huisman D. M. Telling a family: family storytelling, family identity, and cultural membership : thesis ... doctor of philosophy / Huisman Dena Marie. The University of Iowa, USA, 2008. 215 p.
- Jäger S. Discourse and Knowledge: Theoretical and Methodological Aspects of a Critical Discourse and Dispositive Analysis // Methods of Critical Discourse Analysis / R. Wodak, M. Meyer (Eds.). London : SAGE Publications, 2013. P. 32–63.
- Kellas J. K. Finding Meaning in Difficult Family Experiences: Sense-Making and Interaction Processes during joint Family Storytelling / J. K. Kellas, A. R. Trees // The Journal of Family Communication. 2006. Vol. 6, iss. 1. P. 49–76.
- Keppler A. Tischgespräche: Über Formen kommunikativer Vergemeinschaftung in Familien. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1994. 312 s.
- Nelson K. Remembering and Telling: A Developmental Story // Journal of Narrative and Life History. 1991. Vol. 1 (2–3). P. 109–127.
- “Opa war kein Nazi”. Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis / (Hrs.) Welzer, Harald; Moller, Sabine; Tschuggnall, Karoline. Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2002. 256 s.
- Schütze F. Kognitive Figuren des autobiographischen Stegreiferzählens // Biographie und Soziale Wirklichkeit: neue Beiträge und Forschungsperspektiven / Kohli, Martin (Ed.); Robert, Günther (Ed.). Stuttgart : Metzler, 1984. S. 78–117.
- Schütze F. Biographieforschung und narrative Interview // Neue Praxis. 1983. H. 3. S. 283–293.

References

- Beshkinskaya, V., Miller, A. (2020). Stradaniya, podvig tyla i obshchaya otvetstvennost' za vojnu [Suffering, feat of the rear and shared responsibility for the war]. *Russia in Global Affairs*, 5(105), 60–88.

Den' Pobedy distancionno i onlajn: polnyj gid meropriyatij v Lipeckoj oblasti (2020) [Victory Day remotely and online: a complete guide of events in the Lipetsk region]. *Lipetskmedia*. 02.05.2020. URL: https://lipetskmedia.ru/news/society/130500-Dyen_Pobyedi/ (accessed: 06.12.2021).

Digital Memory Studies: Media Pasts in Transition (2017) / ed. by A. Hoskins. London: Routledge. 326 p.

Erll, A., Rigney, A. (2009). Introduction: Cultural Memory and its Dynamics. *Mediation, remediation, and the dynamics of cultural memory* / ed. by A. Erll, A. Rigney. Berlin, N. Y.: Walter de Gruyter, 1–15.

Garde-Hansen, J. (2011). *Media and Memory*. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 174 p.

Gillis, J. R. (1996). *A World of Their Own Making. Myth, Ritual, and the Quest for Family Values*. Cambridge: Harvard University Press, 336 p.

Gorodilina, M. V. (2017). *Semejnaya identichnost' sovremennoj molodezhi v kontekste biograficheskoy pamyati pokolenij* [Family identity of modern youth in the context of biographical memory of generations]: dis. ... kand. psihol. nauk. Moskva, 192 s.

Hirsch, M. (1997). *Family frames: Photography, narrative, and postmemory*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 304 p.

History and Identity in the Narratives of Rural Elders (2004) / L. T. Dorfman, S. A. Murty, R. J. Evans [et al]. *Journal of Aging Studies*, 18, 2, 187–203.

Huisman, D. M. (2008). *Telling a family: family storytelling, family identity, and cultural membership*: thesis ... doctor of philosophy. The University of Iowa, USA, 215 p.

Jäger, S. (2013). Discourse and Knowledge: Theoretical and Methodological Aspects of a Critical Discourse and Dispositive Analysis. *Methods of Critical Discourse Analysis* / R. Wodak, M. Meyer (Eds.) London: SAGE Publications, 32–63.

“Kazhdyj ugolok napolnen lyubov'yu”: Nikolaj Borcov rasskazal o rodnom dome v Den' sem'I (2021) [“Every corner is filled with love”: Nikolai Bortsov spoke about his home on Family Day]. *Lipetskmedia*. 08.07.2021. URL: https://lipetskmedia.ru/news/society/148983-_Kazhdiii_ugolok/ (accessed: 06.12.2021).

Kellas, J. K. (2006). Finding Meaning in Difficult Family Experiences: Sense-Making and Interaction Processes during joint Family Storytelling / J. K. Kellas, A. R. Trees. *The Journal of Family Communication*, 6, 1, 49–76.

Kepler, A. (1994). *Tischgespräche: Über Formen kommunikativer Vergemeinschaftung in Familien*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 312 s.

Linchenko, A. A. (2020). “My sami — vremya”: dinamika vremeni i smysl proshlogo v narrativah semejnoy pamyati. Chast 1 [“We are the time”: the dynamics of time and the sense of the past in the narratives of family memory. Part 1]. *Tempus et Memoria*, 1, 1–2, 53–67.

Logunova, L. Y. (2011). *Social'no-filosofskij analiz semejno-rodovoy pamyati kak programmy social'nogo nasledovaniya* [Socio-philosophical analysis of family-tribal memory as a program of social inheritance]: dis. ... dokt. filosof. nauk. 09.00.11. — social'naya filosofiya. Kemerovo. 267 p.

Men'shikova, E. (2019). “Bessmertnyj polk” vyshel v Lipeckoj oblasti eshche v 1985 godu [“Immortal regiment” began in the Lipetsk region back in 1985]. *Lipetskmedia*. 08.05.2019. URL: https://lipetskmedia.ru/news/society/115182-_Byessmyertniii/ (accessed: 06.12.2021).

Nelson, K. (1991). Remembering and Telling: A Developmental Story. *Journal of Narrative and Life History*, 1(2–3), 109–127.

Nurkova, V. V. (2000). *Svershyonnoe prodolzhaetsya: psihologiya avtobiograficheskoy pamyati lichnosti* [The accomplished continues: the psychology of the autobiographical memory of the personality]. M.: Izd-vo URAO. 320 p.

Omelchenko, E. L., Andreeva, Y. V. (2017). Chto ostaetsya v semejnoy pamyati: pamyat' o sovetskom skvoz' razgovor trekh pokolenij [What remains in family memory: memory of the Soviet through the conversation of three generations]. *Sociologicheskie issledovaniya*, 11, 147–156.

“Opa war kein Nazi”. *Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis* (2002) / (Hrs.) Welzer, Harald; Moller, Sabine; Tschuggnall, Karoline. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 256 s.

Pereverzev, E. V. (2009). Kriticheskij diskurs-analiz: ot teorii k praktike [Critical Discourse Analysis: From Theory to Practice]. *Yazyk. Tekst. Diskurs*, 7, 105–116.

Rozhdestvenskaya, E. Y. (2012). *Biograficheskij metod v sociologii* [Biographical method in sociology]. M.: Izdatel'skij dom VSHE. 381 p.

Safronova, Y. A. (2019). *Istoricheskaya pamyat': vvedenie: uchebnoe posobie* [Historical Memory: An Introduction: A Study Guide]. SPb.: Izdatel'stvo Evropejskogo universiteta v Sankt-Peterburge. 220 p.

Saporovskaya, M. V. (2012). Pokoleniya v sem'e: metodologiya, teoriya i praktika issledovaniya [Generations in the family: methodology, theory and practice of research]. *Vestnik Kurskogo gosudarstvennogo universiteta im. N. A. Nekrasova. Seriya: Pedagogika. Psihologiya. Social'naya rabota. Yuvenologiya. Sociokinetika*, 18, 1, 170–174.

Schütze, F. (1984). Kognitive Figuren des autobiographischen Stegreiferzählens. *Biographie und Soziale Wirklichkeit: neue Beiträge und Forschungsperspektiven* / Kohli, Martin (Ed.); Robert, Günther (Ed.). Stuttgart: Metzler, 78–117.

Schütze, F. (1983). Biographieforschung und narrative Interview. *Neue Praxis*, 3, 283–293.

Skorik, A. P. (2013). Semejnye i individual'nye mikroistorii kak poisk individual'noj i kollektivnoj identichnostej (na materialah Donskogo regiona) [Family and individual microhistories as a search for individual and collective identities (based on materials from the Don region)]. *Stavropol'skij al'manah Rossijskogo obshchestva intellektual'noj istorii*, 14, 96–109.

Tompson, P. (2003). Semejnyj mif, modeli povedeniya i sud'ba cheloveka [Family myth, behavior patterns and human destiny]. *Hrestomatiya po ustnoj istorii / obshch. red. V. M. Loskutovoj*. SPb.: Izd-vo Evrop. Un-ta v S.-Peterburge, 110–146.

Vystuplenie v Kremle, pol'skoe “nasledstvo” i Stalingrad: semejnaya saga pyati pokolenij (2021) [Speech in the Kremlin, Polish “legacy” and Stalingrad: a family saga of five generations]. *Lipetskmedia*. 07.11.2021. URL: <https://lipetskmedia.ru/news/society/154019-Vistuplyeniye/> (accessed: 06.12.2021).

Zeveleva, O. I. (2014). Biograficheskij metod i diskurs-analiz: perspektivy sochetaniya [Biographical Method and Discourse Analysis: Prospects for Combination]. *Sociologiya: metodologiya, metody, matematicheskoe modelirovanie*, 39, 7–39.

Сведения об авторах

Линченко Андрей Александрович, кандидат философских наук, научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ, г. Липецк, Россия

Information about the authors

Andrey A. Linchenko, Cand. Sci (Philosophy), Scientific Researcher at the Financial University, Lipetsk, Russia

*Статья поступила в редакцию 15.12.2021;
одобрена после рецензирования 25.12.2021;
принята к публикации 30.12.2021*

*The article was submitted 15.12.2021;
approved after reviewing 25.12.2021;
accepted for publication 30.12.2021*

Научная статья

УДК 910.1:303.446.23 + 316.346.36:159.953 + 316.334.56

doi 10.15826/tetm.2022.3.030

Память и идентичность на пограничье: переинтерпретация пространства

Юлия Валерьевна Зевако

Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург, Россия

zevakojulia@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7656-0141>

Аннотация. В статье дается краткая характеристика исследования пограничья с точки зрения антропологии; проблематизируется исследование памяти и идентичности на пограничье с точки зрения теории «мест памяти» П. Нора и дискурсивной природы этих феноменов; анализируются два кейса с фокусированием на механизмах переинтерпретации пространства с целью формирования новой памяти и новой идентичности места/местных жителей как усилиями государственных акторов, так и путем повседневных бытовых практик.

Автор приходит к выводу, что успешные практики переинтерпретации пространства часто связаны с радикальным изменением демографических характеристик пограничного региона и проведением соответствующей последовательной политики, синхронизирующей и синхронизирующейся с бытовыми повседневными практиками освоения данного физического и социокультурного пространства местными жителями. В ином случае разные версии памяти в одном/об одном пространстве у разных групп населения пограничья приводят к обострению конфликтного потенциала их взаимодействия между собой и с центральными государственными институтами как интересантами одного политического проекта.

Ключевые слова: память, идентичность, переинтерпретация пространства, пограничье, memory studies

Для цитирования: Зевако Ю. В. Память и идентичность на пограничье: переинтерпретация пространства // *Tempus et Memoria*. 2022. Т. 3, № 1. С. 46–54. doi 10.15826/tetm.2022.3.030

Благодарности: Работа выполнена по гранту РНФ № 22-28-02064 «Особенности дискурса национальной/гражданской идентичности в in-between пространствах “иммигрантских” сообществ (на материалах “британских мусульман” в современной Великобритании)», рук. Д. Н. Караева.

Original article

Memory and Identity on the Borderland: Reinterpretation of Space

Yulia V. Zevako

Institute of History and Archeology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia

zevakojulia@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-7656-0141>

Abstract. In this article, the author gives a brief description of the studies of the borderland from the point of view of anthropology, problematizes the study of memory and identity on the borderland from the point of view of the theory of “places of memory” by P. Nora and the discursive nature of these phenomena. The author analyzes two cases, focusing on the mechanisms of space reinterpretation in order to form a new memory and a new local identity both through the efforts of state actors and through everyday practices.

The author comes to the conclusion that successful practices of space reinterpretation are often associated with a radical change in the demographic characteristics of the border region and the implementation of an appropriate consistent policy that synchronizes with everyday practices of the development of this physical and socio-cultural space by local residents. Otherwise, different versions of the memory of the same space among different groups of the border population lead to an aggravation of the conflict potential of their interaction with each other and with central state institutions as they are interested in only one political project.

Key words: memory, identity, reinterpretation of space, borderland, memory studies

For citation: Zevako, Yu. V. (2022). Pamyat' i identichnost' na pogranich'e: pereinterpretatsiya prostranstva [Memory and identity on the borderland: reinterpretation of space]. *Tempus et Memoria*, 3, 1. 46–54. doi 10.15826/tetm.2022.3.030

Acknowledgments: The research work was supported by the RSF grant № 22-28-02064 “Peculiarities of the discourse of national/civil identity in the in-between spaces of “immigrant” communities (on the materials of “British Muslims” in modern Great Britain)”, supervisor D. N. Karavaeva.

Интерес к пространственному измерению памяти и идентичности в рамках нового направления исследований, memory studies, был поставлен в самом названии широко известного проекта, инициированного П. Нора в конце 1970-х гг., — «Места памяти». П. Нора полагал, что реальная среда памяти была заменена «местом памяти», в котором связи с прошлым в значительной степени конструируются и осуществляются через эти «пространства памяти» [Франция-память]. В этом смысле особый интерес вызывают пограничные территории, которые становятся своеобразными лабораториями по выстраиванию памяти и идентичности на физических, социокультурных, ментальных пространствах, являющихся полем конкуренции разных политических проектов и результатом разных исторических обстоятельств, отразившихся и на людях, и на населенных ими землях.

Как подчеркивает М. Эйленбергер, «обширная литература по пограничным исследованиям

разбросана по многим дисциплинам, и существует столько же подходов к этому предмету» [Eilenberger, 43]: политологи («политическая лимнология») [Цветкова], экономисты [Божко, 47–50], философы, психологи и культурологи [Ерохина, Хрящева, Захарова, 233–239], филологи и лингвисты [Большакова, Мотеюнайте, 130–143] активно занимаются разработкой данной тематики. Понятия «границы» и «пограничья» успешно осваиваются и антропологами, составляя суть целого исследовательского направления — «антропологии пограничья» [Беспамятных, 36–43]. Представители данного направления пытаются осмыслить и теоретизировать динамику государственных границ, прилегающих пограничных территорий и их населения [Eilenberger, 43]; преодолеть узкий взгляд по принципу «сверху вниз», который фокусируется на том, как государства взаимодействуют с границами и их населением, осуществляя контроль и проявляя власть; исправить односторонность исследований,

ориентированных на государство, признав разного рода границы в качестве лабораторий социальных и культурных изменений; способствовать пониманию пограничных процессов и формирования государства с точки зрения живущих там местных агентов [Eilenberger, 44–45]. Другими словами, антропология пытается исследовать «человеческое измерение» границы/пограничья — то, как ощущаются и осмысливаются «снизу» естественно сформировавшиеся или заданные «сверху» политические, экономические, хозяйственно-административные, территориальные и прочие координаты, то, как о разного рода границах люди *мыслят и говорят*, как они на границах *действуют и взаимодействуют*, — то, что Е. Брюнет-Джейли называет «human agency» [Brunet-Jailly, 351–352].

«Агентность» жителей пограничья также является достаточно динамичной категорией, поскольку на нее в значительной степени влияют административный и политико-институциональный контексты того государства (региона), частью которого они являются в конкретный промежуток (исторического) времени, но не исчерпываются ими.

Принимая во внимание то, что «пограничье» может восприниматься достаточно широко — и как объекты, непосредственно примыкающие к государственной границе, и как локальные населенные пункты, как правило сельские, в которых живут представители различных этносов, языковых групп, конфессий и культурных традиций, и как локальная «приграничность» и внутрилокальная культурная «разграниченность» [Беспамятных, 38–40], в данной статье я сконцентрируюсь на первом варианте: пограничье как «регион, который характеризует непосредственная близость к государственной границе, и прямое и значительное экономическое, социальное и политическое влияние этой границы на жизнь в регионе... как набор практик, определяемых этой границей» [Eilenberger, 44–45], как пространство, на котором (со)существуют по крайней мере «два типа нарративов, один из которых пропагандируется государством, а другой — пограничным населением» [Ibid., 55].

Вопрос о нарративах, связанных с пограничными территориями, ставит вопрос о политике и практиках идентичности в указанных

пространствах, ориентированных на современность, но черпающих свои основания в прошлом, активизируя потенциал памяти места и памяти о месте в самых разных его проявлениях.

Поскольку пограничные территории, как правило, имеют достаточно сложную историю (в том числе перехода под юрисдикцию разных политико-административных единиц), можно предположить, что идентичность людей на пограничье также будет достаточно сложносочиненной, в собственной логике включающей/исключающей, усваивающей те версии памяти, которые оказываются актуальными в текущий момент. С другой стороны, имея в виду селективный характер памяти с точки зрения носителей (в нашем случае жителей пограничья) и инструментальный характер памяти с точки зрения политических акторов разного уровня, можно предположить, что в разных поколениях восприятие жителями пограничья себя и пространства, в котором они живут, может значительно отличаться, создавая дополнительную сложность в (само)позиционировании пограничья и интеграции/включении его в большие государственные нарративы и политические проекты, предполагающие переинтерпретацию пространства пограничья (в культурном, религиозном, физическом, архитектурном и прочих смыслах).

Разнообразие случаев и обстоятельств пограничья дает разные варианты тех процессов, о которых было сказано выше. В данной статье я остановлюсь на двух ярких случаях, некоторым образом рифмующихся между собой. Это кейс с Верхней Силезией на польско-германском пограничье и кейс с городом Нарва на российско-эстонском пограничье.

Первая и Вторая мировые войны сильно перекроили карту Европы, на ней появились новые государства, а границы старых значительно сместились. Перемещение коснулось и людей, ранее населявших эти территории: добровольные и насильственные миграции стали приметой времени и сильно влияли на политику и практики в старых/новых пограничных территориях.

Если мы обратимся к Энциклопедии «Британника», узнаем, что после поражения Германии и Австро-Венгрии в Первой мировой войне встал важный вопрос о конфликтующих

притязаниях Германии и Польши на большую часть Верхней Силезии (Нижняя Силезия продолжала входить в состав Германии до конца Второй мировой войны). В результате трех польских восстаний против немцев и несмотря на то, что на плебисците 20 марта 1921 г. большая часть населения высказалась за принадлежность к Германии, союзные державы одобрили включение юго-восточной части Верхней Силезии в состав новой страны, Польши. С завоеванием Польши в 1939 г. нацистская Германия вернула себе Верхнюю Силезию. Многие силезские поляки были убиты или депортированы, а территории были заполнены немецкими поселенцами. Обратный процесс произошел в 1945 г., когда Силезия была захвачена советской Красной армией, затем в августе 1945 г. союзные державы согласились передать почти всю Силезию Польше, а немецкое население региона — в управляемую союзниками Германию. Фактически более 3 млн силезских немцев были насильственно изгнаны на запад, а область была вновь заселена поляками с востока и севера [Silesia].

Как происходила переинтерпретация этого немецко-польского пограничья в новых реалиях послевоенного мира? А. Демшук провел скурпулезное исследование этого процесса. Он отмечает, что «вместо обещанной пропагандой “вечно польской Силезии” польские поселенцы столкнулись с руинами немецкой провинции, и польской элите пришлось изобрести идею польского Вроцлава именно по той причине, что в польской памяти этот город едва существовал до 1945 г.; его скудные польские связи, восходящие к средневековой династии Пястов, были неизвестны большинству. Нигде не было черты, которую можно было бы узнать и без колебаний назвать польской; город был немецким по форме и содержанию. Поэтому с еще большей энергией, чем того требовало государство, новые поселенцы уничтожали немецкие элементы или изобретали для них свои собственные значения, чтобы создать ту самую польскую Силезию, которая, как утверждали их мифотворцы, существовала всегда» [Demshuk, 43–44].

Опасаясь притязаний Германии на «утраченные земли», вплоть до официального признания ФРГ в 1970 г. новой границы между Германией и Польшей, польские коммунистические

политики, националистические ученые и католическое духовенство действовали в одном направлении: «пользовались популистской, националистической антинемецкой риторикой и проповедовали движение на запад как историческую возможность исправить многовековые немецкие проступки»; проповедовали государственную мифологию о «возвращенных территориях», о том, что Польша вернула себе исторические польские земли [Demshuk, 46–47]. Силезская граница для послевоенной Польши стала одним из своеобразных «символов, с помощью которого страна определяла себя» [Ładykowska, Ładykowski, 162], «изобретая» и продуцируя новые смыслы.

В переинтерпретацию пространства («перерегистрацию», по терминологии А. Демшука) активно включилось и академическое сообщество: так, «националистические исследовательские институты и ученые приступили к еще более сложным изобретениям “древней” истории Польши на Западе. Западный институт был основан в Познани в 1945 г., за ним последовали Силезские институты в Ополе и Катовицах. Их цель заключалась в преемственности с межвоенными исследовательскими обществами... которые продвигали польские национальные претензии на западные регионы... в риторике права на “восстановление” территорий, которые немцы в свое время “отвоевали” у польского народа» [Demshuk, 47]. Католическая церковь также активно поддерживала идею «сдвига на Запад», видя в этом возможность не просто ополитизировать «восстановленные территории», но и полностью католизировать регионы, которые ранее были протестантскими [Ibid., 48]

А. Демшук подчеркивает, что «перерегистрация» была особенно сильной в первые послевоенные годы, когда «немецкое наследие наиболее заметно бросало вызов польским притязаниям», но активно продолжалась и впоследствии. Все немецкие надписи должны были быть удалены, а немецкие памятники и здания должны были быть «дегерманизированы» или заменены польскими. К 1970 г., как пишет автор, в польских туристических книгах все довоенные евреи города были зарегистрированы как поляки, а немецкие города, улицы и достопримечательности переименованы на «обычно изобретенные» польские

националистические названия: «улица СА» в Бреслау стала во Вроцлаве «улицей силезских повстанцев», площадь Тауэнцина стала площадью Костюшко, Бунцлау «вернулся» к своим славянским корням как Болеславец и т. д. Автор подчеркивает: тот факт, что польские чиновники то и дело ошибались или путали новые названия «вечно польских» мест, свидетельствовало об их искусственности [Demshuk, 50–51].

Переинтерпретация касалась и архитектурного облика города: «создание польской Силезии» требовало очень селективного отношения к послевоенному восстановлению памятников культуры и архитектуры, — курс был взят на то, чтобы сохранять «только польские памятники» [Ibid., 51–52].

Еще одной практикой и инструментом переинтерпретации стали регулярные церемонии празднования «возвращения» «древних польских земель» и победы над немецкостью — например, «Выставка возвращенных земель» во Вроцлаве летом 1948 г., которую автор называет «одним из крупнейших пропагандистских шоу в истории коммунистической Польши» [Ibid., 52], зрителями которого стали более полутора миллионов поляков. Все это сочеталось с последовательной языковой политикой на новых территориях, которые, по мнению М. Винкена, «стали решающими для установления границы» [Venken, 77].

Политика памяти, активно и бескомпромиссно проводимая польскими властями в Силезии, в этом польско-германском пограничье, по-своему преломлялась среди жителей региона. А. Демшук отмечает, что 3,5 млн немцев, изгнанных из своих прежних домов, заменили 4,5 млн поляков, часть из которых прибыла из опустошенных районов Центральной Польши, а часть — из обширных восточных кресов Польши, лагерей для перемещенных лиц в Германии и издалека. Соответственно из-за разного происхождения польские поселенцы в Силезии составляли далеко не однородную группу: разное прошлое влияло на то, как они интерпретировали незнакомый мир вокруг себя [Demshuk, 53].

Несмотря на свою разность и разобщенность, эта «пограничная идентичность прибывших в новые земли поляков была особенно антигерманской, поскольку «нацистские

окупанты в Польше опустошили польские пространства памяти и своей жестокостью посеяли воспоминания, враждебные всему немецкому... Поэтому неудивительно, что поселенцы, насильственно переселенные из кресей или просто ищущие лучшей жизни среди руин в Центральной Польше, в целом были едины в своем отвращении к немецким артефактам, с которыми они сталкивались на каждом шагу... и активно участвовали в превращении мифологии в физическую реальность вокруг себя, вытравливая немецкие смыслы и создавая новые» [Demshuk, 53–54]. В конечном счете смешение поляков из столь многих регионов в новом пространстве без собственной отчетливой польской региональной идентичности, подчеркивает А. Демшук, привело к появлению нового «польского народа» [Ibid., 55] и осмыслению бывшей пограничной территории как «такой же польской, как Варшава, но с немецким наследием» [Ibid., 57].

В то же самое время, отмечает исследователь, немцы — бывшие жители Силезии и их потомки — также приняли тот факт, что теперь это польские земли, в конце 1950-х — в 1970–1980-е гг., актуализировав процессы пограничного взаимодействия с точки зрения «human agency» поверх установленных государством правил. А. Демшук назвал этот процесс «транснациональными встречами на общей родине», которые приводили к «обмену смыслами между немецкими путешественниками и польскими поселенцами в палимпсестных пространствах Силезии». При этом «немцы воспринимали Силезию как польское пространство, в то время как поляки в частном порядке игнорировали политические табу, запрещающие обсуждение немецкого прошлого» [Ibid.]. На время состояние «пограничья» вновь вернулось в Силезию, но не как физическое пограничье (здесь граница была уже обозначена, признана и принята), а как культурно-ностальгическое пространство, связанное одновременно с материальным наследием, которое поляки еще могли сохранить для немцев в виде реконструкции старых немецких зданий, хоть и с «польскими смыслами» [Ibid., 65], и нематериальным наследием — семейной памятью, памятью о быте и укладе прежней жизни этих мест, которые немцы могли предложить полякам. На время этого взаимодействия,

взаимного рассказывания историй о прошлой и настоящей жизни, одинаково важного и «своего» пространства для обеих сторон, часто формировались «дружеские, даже долгосрочные связи».

Негласный договор, сформировавшийся на «человеческом измерении» этого условного «пограничья», заключался в том, что немецкие «путешественники обычно были готовы не обращать внимания на польское переписывание немецких памятных мест, если в конце концов поляки были готовы восстановить или отремонтировать немецкие объекты к своему удовлетворению, потому что это давало им ощущение, что пространства памяти из их прошлого живут в жизни других людей» [Demshuk, 67].

Эпоха «транснационального обмена» на культурно-ностальгическом пограничье закончилась с уходом людей — носителей опыта пограничного взаимодействия, «бывшими и нынешними жителями Силезии». К концу XX в. с естественным уходом носителей данного опыта и памяти и в результате целенаправленной политики колонизации Силезия в понимании современных поляков и немцев окончательно стала польской. Как пишет А. Демшук, «не имея связей с регионом, даже большинство потомков немецких силезцев в значительной степени не знают о немецком прошлом региона и отвергают Шленск как просто еще один район Польши, который немногие немцы должны посетить. Немцы просто больше не силезцы. Нынешние силезцы — поляки, и они овладевают многослойной историей своей родины на своих условиях... и для себя» [Ibid., 73–74].

Пример Силезии показывает успешный вариант переинтерпретации пространства, переизобретения памяти и переозначивания идентичности места и его жителей (при достижении консенсуса старых и новых «хозяев места» по поводу нынешней принадлежности данной территории).

Северо-восточнее от Силезии находится территория, также долгое время, и особенно в XX в., находившаяся в ситуации многократного «перемещения границы», которое «вызывало переворот в значениях, приписываемых физическим пространствам» [Ibid., 40–41], — нынешнее российско-эстонское пограничье

и конкретно город Нарва. Ф. Мартинес отмечает, что «эти окраины были свидетелями постоянных завоевателей и великих сражений, таких как битва с участием короля Швеции Карла XII и Петра I России... Нарва стала местом встречи немецкого кайзера Вильгельма II и русского царя Александра III. После распада империи новая независимая Эстонская Республика получила контроль над всем городом Нарвой, включая Ивангород. Линия этой границы была взаимно признана Советской Россией и Эстонией в Тартуском мирном договоре 1920 г. Во время Второй мировой войны территория Эстонии была одной из линий фронта — до такой степени, что в результате было разрушено 98,2 % зданий. После войны советское правительство не разрешило бывшим жителям Нарвы вернуться домой и решило не реконструировать барочный старый город Нарвы, а перестроить его как современный социалистический город» [Martínez, 168–169], то есть, как и в случае с Силезией, переинтерпретировать пространство, но с акцентом не на историческую преемственность, а на реализацию советского проекта будущего. Тем не менее инструменты стирания старых смыслов и конструирования новых в целом были похожи.

А. Упадьяй подчеркивает, что «советская политика широкого внедрения рабочих-мигрантов со всего Советского Союза и депортации местных жителей в районы другой этнической принадлежности сыграла огромную роль в изменении демографического и этнического профиля стран Балтии... Если в 1934 г. этнические эстонцы составляли 88 % населения, русские — 8 %, представители других национальностей — 4 %, то между 1945 и 1989 гг., после введения политики, направленной на экономическое и социальное восстановление Эстонии как неотъемлемой части Советского Союза, это соотношение резко изменилось: русскоязычное население выросло с 26 000 до 602 000 человек, то есть с 2,7 до 39 %» [Uradhuay, 163]. Кроме того, продолжает автор, «советская политика и институты активно поддерживали адаптацию русских мигрантов в Эстонии — давали им приоритет в получении жилья, создавали отдельную систему языкового обучения, предоставляя привилегированный статус русскому языку, который также служил лингва-франка страны» [Ibid.].

С распадом СССР и девальвацией советского проекта граница, на время стертая с политико-административных карт, вновь обрела очертания государственной и вновь началась переинтерпретация пространства — только в обратном направлении. Инструменты, которые показали себя достаточно успешными — языковая и образовательная политика, смена топонимики, переозначивание мест памяти, реконструкция архитектурных сооружений, репрезентационно-символические жесты (например, вывешивание флагов на общественных зданиях [Martínez, 157]), активно использовались правительством теперь независимой Эстонии.

Одним из ключевых элементов, обеспечивших в свое время успешную колонизацию Силезии и отчасти советизацию Прибалтики, было быстрое и кардинальное изменение демографических характеристик соответствующих приграничных районов, то есть насильственное перемещение «неудобного населения» [Ibid., 178]. В современных правовых реалиях такое перемещение противоречит как национальному, так и международному праву, с одной стороны, усложняя государственным институтам задачу контроля и регулирования границы и приграничных территорий в физическом и социокультурном смысле, а с другой — побуждая искать иные способы взаимодействия со сложным пограничным населением. Так, в 1992 г. эстонским парламентом был принят закон о гражданстве, направленный на правопреемство с независимой Эстонской Республикой 1918–1940 гг., который определял гражданами Эстонии только тех жителей и их потомков, которые были гражданами до 16 июня 1940 г. — до даты присоединения к СССР. Это привело к тому, что около полумиллиона послевоенных поселенцев и их потомков были объявлены «иностранцами» или «лицами без гражданства» [Uradhuay, 163]. В итоге русскоязычные жители Нарвы часто называют эстонцев «соседями» [Martínez, 158], а сами эстонцы периодически представляют себя выше русских, которых считают «нецивилизованными» и «восточными» [Ibid., 179], относятся к русскоязычным жителям страны как к «пятой колонне с пророссийскими симпатиями» [Uradhuay, 163], для которых «столица — Таллин, а президент — Путин» [Ibid., 171].

Таким образом, ни СССР, ни современное эстонское государство не смогли реализовать силезский тип переинтерпретации пространства, предполагающий достижение консенсуса по вопросу принадлежности территории старым и новым «хозяевам места». Память и идентичность в Нарве до сих пор остаются предметом сложных повседневных практик и политических дискуссий.

Подводя итог, можно отметить, что представленные кейсы показывают механику процесса переинтерпретации пространства пограничья. В случае с Нарвой мы увидели, как дважды в течение XX в. государственная граница физически двигалась по этому пространству, меняя статус и территории, и людей внутри этой территории, которые также становились инструментом, целью и результатом данной переинтерпретации. Случай с Верхней Силезией показывает, насколько эффективно может происходить процесс переозначивания памяти и смены идентичности места и людей, его населяющих, при достаточно активной и бескомпромиссной национальной политике нового «государственного сюзерена» приграничной территории на протяжении трех, четырех и более поколений. Кейс с Нарвой показывает, с одной стороны, аналогичный Верхней Силезии процесс, дважды инициированный двумя разными политическими субъектами, а с другой — как происходит обратное «отвоевывание пространств и смыслов» предыдущей доминирующей группой: этот процесс провоцирует и обостряет «пограничность» не только как «лабораторию» новых практик взаимодействия (включения и исключения), но и как психическое/психологическое состояние местного населения, (частично) лишенного своей агентности.

Продолжающиеся миграции людей на другие территории и «миграции границ» по населению, как подчеркивает Ф. Мартинес, разрушают старые сообщества и формируют новые, вызывают переселение, создают новые меньшинства или гомогенизируют население внутри новых границ. При этом, как отмечает исследователь, границы не являются ни объективными сущностями, ни вечными: они представляют собой искусственные конструкции как в их физической материальности, так и в их социокультурном значении,

возникающие из смеси социальных и институциональных практик [Martínez, 174]. Изучение богатого (при этом не всегда успешного) практического опыта различных стран в переинтерпретации пространств, конструировании памяти места/о месте с целью формирования новой идентичности (лояльности новому

«государственному сюзерену») у жителей пограничных территорий в условиях динамично изменяющегося мира дает большие эвристические возможности для анализа политических процессов в области политики памяти и идентичности в современных государствах.

Список источников

- Беспамятных Н. Н. Антропология пограничья: концептуализация исследовательского направления // *Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў*. 2012. № 2 (18). С. 36–43.
- Божко Л. Л. Концептуальные подходы к понятию «граница» в контексте институциональной парадигмы // *Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки*. 2011. № 1. С. 47–50.
- Большакова Н. В., Мотеюнайте И. В. Культурный ландшафт пограничья: прошлое, настоящее, будущее (международная научная конференция, Псков, 5–7 декабря 2013 г.) // *Псков. регионол. журн.* 2014. № 17. С. 130–143.
- Ерохина Т. И., Хрящева И. А., Захарова М. И. Модус пограничности в современном гуманитарном знании // *Ярослав. пед. вестн.* 2017. № 3. С. 233–239.
- Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок ; пер. с фр. Д. Хапаева. СПб. : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1999. URL: <http://ec-dejavu.ru/m-2/Memory-Nora.html> (дата обращения: 09.10.2022).
- Цветкова О. В. Политическая лимология: концепт границы // *Регионология Regionology*. 2015. № 3. URL: <http://regionsar.ru/ru/node/1397> (дата обращения: 10.11.2021).
- Brunet-Jailly E. Conclusion: Borders, Borderlands, and Security: European and North American Lessons and Public Policy Suggestions // *Borderlands: Comparing Border Security in North America and Europe*. University of Ottawa Press, 2007. P. 351–356.
- Demshuk A. Reinscribing Schlesien as Śląsk: Memory and Mythology in a Postwar German-Polish Borderland // *History and Memory*. 2012. Vol. 24, № 1 (Spring/Summer). P. 39–86.
- Eilenberg M. Borders of engagement // *At the Edges of States: Dynamics of State Formation in the Indonesian Borderlands*, 2012. P. 43–74.
- Martínez F. Narva, a Centre out There // *Remains of the Soviet Past in Estonia: An Anthropology of Forgetting, Repair and Urban Traces*. UCL Press. P. 155–181.
- Ładykowska A., Ładykowski P. Anthropology of Borders and Frontiers The Case of the Polish-German Border land (1945–1980) // *Borders and Border Regions in Europe: Changes, Challenges and Chances* / ed. Arnaud Lechevalier, Jan Wielgohs. Transcript Verlag, 2013. P. 159–182.
- Silesia // *Encyclopaedia Britannica*. URL: <https://www.britannica.com/place/Silesia> (дата обращения: 04.10.2022).
- Upadhyay A. Borderland Geopolitics In Estonia: The Case of «Narva» — The Russian Majority Enclave // *World Affairs: The Journal of International Issues*. 2017. Vol. 21, № 3 (July–September). P. 160–169.
- Venken M. Making the Border // *Peripheries at the Centre: Borderland Schooling in Interwar Europe Book*. Berghahn, 2021. P. 77–118.

References

- Bespamyatnykh, N. N. (2012). Antropologiya pogranich'ya: kontseptualizatsiya issledovatel'skogo napravleniya [Anthropology of the Borderland: A Conceptualization of a Research Area]. *Vesnik Belaruskaga dzyarzhaj'naga universiteta kul'tury i mastatstvaŭ*, 2(18), 36–43.
- Bozhko, L. L. (2011). Kontseptual'nye podkhody k ponyatiyu «granitsa» v kontekste institutsional'noi paradigmy [Conceptual approaches to the concept of «border» in the context of the institutional paradigm]. *Nauchno-tehnicheskie ведомosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta. Ekonomicheskie nauki*, 1, 47–50.
- Boľshakova, N. V., Moteyunaite, I. V. (2014). Kul'turnyi landshaft pogranich'ya: proshloe, nastoyashchee, budushchee (mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, Pskov, 5–7 dekabrya 2013 g.) [Cultural Landscape of the Borderlands: Past, Present, Future (International Scientific Conference, Pskov, December 5–7, 2013)]. *Pskovskii regionologicheskii zhurnal*, 17, 130–143.
- Erokhina, T. I., Khryashcheva, I. A., Zakharova, M. I. (2017). Modus pogranichnosti v sovremennom gumanitarnom znanii [Borderline modus in modern humanitarian knowledge]. *Yaroslavskii pedagogicheskii vestnik*, 3, 233–239.
- Nora, P., Ozuf M., de Pyuimezh Zh., Vinok, M. (1999). *Frantsiya-pamyat'* [France-Memory]. Per. s fr.: D. Khapaeva. SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 1999. URL: <http://ec-dejavu.ru/m-2/Memory-Nora.html> (accessed: 09.10.2022).
- Tsvetkova, O. V. (2015) Politicheskaya limologiya: kontsept granitsy [Political limology: the concept of the border]. *Regionologiya regionology*, 3. URL: <http://regionsar.ru/ru/node/1397> (accessed: 10.11.2021).

- Brunet-Jailly, E. (2007). Conclusion: Borders, Borderlands, and Security: European and North American Lessons and Public Policy Suggestions. *Borderlands: Comparing Border Security in North America and Europe*. University of Ottawa Press, 351–356.
- Demshuk, A. (2012). Reinscribing Schlesien as Śląsk: Memory and Mythology in a Postwar German-Polish Borderland. *History and Memory*, 24, 1 (Spring/Summer), 39–86.
- Eilenberg, M. (2012). Borders of engagement. *At the Edges of States: Dynamics of State Formation in the Indonesian Borderlands*, 43–74.
- Martinez, F. Narva, a Centre out There. *Remains of the Soviet Past in Estonia: An Anthropology of Forgetting, Repair and Urban Traces*. UCL Press, 155–181.
- Ładykowska, A., Ładykowski, P. (2013). Anthropology of Borders and Frontiers The Case of the Polish-German Borderland (1945–1980). *Borders and Border Regions in Europe: Changes, Challenges and Chances*. Editors: Arnaud Lechevalier, Jan Wielgohs. Transcript Verlag, 159–182.
- Silesia. *Encyclopaedia Britannica*. URL: <https://www.britannica.com/place/Silesia> (accessed: 04.10.2022).
- Upadhyay, A. (2017). Borderland Geopolitics In Estonia: The Case of «Narva» — The Russian Majority Enclave. *World Affairs: The Journal of International Issues*, 21, 3 (July–September), 160–169.
- Venken, M. (2021). Making the Border. *Peripheries at the Centre: Borderland Schooling in Interwar Europe Book*, 77–118.

Сведения об авторе

Зевако Юлия Валерьевна, кандидат политических наук, научный сотрудник лаборатории междисциплинарных гуманитарных исследований Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия

Information about the author

Yulia V. Zevako, Cand. Sci. (Political Science), Research Fellow, Laboratory for Interdisciplinary Humanitarian Research, Institute of History and Archeology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, Russia

*Статья поступила в редакцию 01.09.2022;
одобрена после рецензирования 15.09.2022;
принята к публикации 30.09.2022*

*The article was submitted 01.09.2022;
approved after reviewing 15.09.2022;
accepted for publication 30.09.2022*

Научная статья

УДК 94:159.953 + 725.945:2-13 + 94(470)“1941/1945” + 316.752

doi 10.15826/tetm.2022.3.031

А. Мегилл: опасность сакрализации памяти

Наталья Сергеевна Корнющенко-Ермолаева

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, Россия

nskorn@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7621-6367>

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о взаимоотношениях памяти и исторической науки в концепции исторической эпистемологии американского историка Аллана Мегилла. На основе проделанного анализа показана опасность процесса сакрализации исторической памяти. Обсуждается также вопрос последствий, возникающий с увеличением ценности коллективной исторической памяти.

Ключевые слова: историческая память, сакрализация, А. Мегилл, «принцип нерешительности», ценность

Для цитирования: Корнющенко-Ермолаева Н. С. А. Мегилл: опасность сакрализации памяти // *Tempus et Memoria*. 2022. Т. 3, № 1. С. 55–62. doi 10.15826/tetm.2022.3.031

Original article

A. Megill: the Danger of Sacralizing Memory

Nataliya S. Kornyushchenko-Ermolaeva

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russia

nskorn@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7621-6367>

Abstract. The article discusses the relationship between memory and historical science in the concept of historical epistemology by American historian Allan Megill. Based on the analysis done, the danger of the process of sacralization of historical memory is shown. The article discusses the issue of consequences arising with the increase in the value of collective historical memory.

Keywords: historical memory, sacralization, A. Megill, “the principle of indecision”, value

For citation: Kornyushchenko-Ermolaeva, N. S. (2022). A. Megill: opasnost' sakralizatsii pamyati [Megill: the Danger of Sacralizing Memory]. *Tempus et Memoria*, 3, 1, 55–62. doi 10.15826/tetm.2022.3.031

Обращение к теме памяти и ее противоречивым отношениям с исторической наукой особенно актуализировалось в последние десятилетия, поскольку у профессиональных историков в работе со свидетельствами наметились серьезные изменения. Профессор

истории Университета Вирджиния Аллан Мегилл, один из самых известных исследователей исторической памяти, обозначил их как «поворот к культурной истории», а с легкой подачи французского историка П. Нора эпоха второй половины XX в. получила выразительное

название «мемориальная эпоха» или «всемирное торжество памяти» [Нора]. Многие исследователи с уверенностью говорят о том, что новое понимание современной историографии ориентировано на память. Мегилл определяет его как «дважды позитивное» центрирование на работу со следами коллективной и индивидуальной исторической памяти. Прошлое, реконструированное исторической памятью социальных групп и отдельных индивидов, оказывается значительно более сложным и противоречивым феноменом, нежели объективные данные исторической науки, поэтому можно с уверенностью говорить о парадоксальности феномена «исторической памяти» и неоднозначности отношения к нему профессиональных историков.

Мегилл в своих работах отстаивает необходимость устранения памяти, как автобиографической, так и коллективной, из достоверных источников и объективных доказательств истории и замене ее тем, что не будет «привязано к желаниям настоящего» [Мегилл 2005, 140]. Он категорически высказывается против позиции, согласно которой историческая наука должна оставаться формой или продолжением памяти, а центральной задачей ее должно быть сохранение и восполнение дефицита памяти по целому ряду причин, с которыми и следует разобраться. Выражая серьезные сомнения в том, что «истинная функция истории заключается в защите правильной позиции в настоящем» [Мегилл 2007, 75], американский исследователь предупреждает об опасности того, что история может трансформироваться в политику и даже войну, которая будет вестись между социальными группами, но только другим оружием.

Если обратиться к истории взаимоотношений исторической науки и памяти, можно обнаружить, что в древности эти феномены не противостояли друг другу, а пересекались. «Для всех более ранних форм историописания характерно то, что они сознавали себя как разновидность воспоминания, как сохранение памяти» [Мегилл 2005, 43]. Слово «история» означает и «то, что случилось», то есть событие, и «рассказ о том, что случилось», который многократно воспроизводился очевидцами и свидетелями события и постепенно обрастал подробностями и деталями, трансформируясь

в нарратив. Следовательно, история как наука берет свое начало из памяти, а память выступает в качестве первоисточника и основы исторического дискурса. Однако до определенного времени сама память как феномен еще не была объектом исследования для историка, не была ему интересна как таковая. «Он был заинтересован непосредственно самими делами, а не способами их запоминания» [Мегилл 2005, 135]. Для него были важны сами события, их причины и последствия, но не то, как и почему они запечатлелись в памяти современников. Память для историка еще не имела эвристической ценности, она была только способом сохранения и воспроизведения знания о прошлом. Разделение памяти и истории произошло лишь в XIX в. Это время официально зафиксировано как дата возникновения исторической науки в качестве профессионального дискурса и классической модели исторического исследования. Историописание стало уделом образованной элиты. Именно в это время память и история «открыли друг в друге свою противоположность» [Ассман, 43].

В историографии второй половины XX в. перед историками встает вопрос об изучении массовых обыденных представлений о прошлом, то есть об изучении коллективной и автобиографической исторической памяти. Вопрос возникает совсем не праздный: на каком основании американский историк считает, что центральная задача историописания, длительное время понимающаяся как сохранение и восполнение памяти, должна быть изменена? В чем, с точки зрения Мегилла, заключается опасность продолжать и дальше использовать память в качестве достоверного источника исторических фактов?

Ответы на поставленные вопросы невозможны без прояснения того, в чем Мегилл видит специфику работы историка с прошлым, то есть без понимания основных принципов исторической эпистемологии и обстоятельств, изменивших отношение историографии и памяти. А с другой стороны, не проясняя содержание понятия «историческая память» в концепции Мегилла.

Ключевой особенностью работы историка и одним из основных положений исторической эпистемологии Мегилл считает «принцип нерешительности» или «нерешающей диалектики».

Этот принцип заключается в том, что профессиональный историк, высказывая суждение о каком-либо историческом событии или феномене, не стремится снять противоречия между альтернативными свидетельствами и получить определенное заключение или построить единую, непротиворечивую теорию. «Нерешающая диалектика» — характерная черта исторического мышления, ее суть в том, чтобы сохранять «разрыв или промежуток между прошлой реальностью, которую историк описывает, и миром опыта настоящего» [Мегилл 2007, 74]. Прошлое и настоящее не раздельны, а различны, и это различие историк обязан учитывать в историческом исследовании. Если историк пытается соответствовать недостижимому требованию — знать прошлое с уверенностью, он исключает себя из профессиональной традиции историописания.

Не менее важной особенностью исторического исследования является тот факт, что профессиональный историк должен придерживаться концептуального различия между «историческим следом» и «историческим источником». Источник, в отличие от следа, всегда является интерпретацией события, тем, что «неизбежно будут путать с воззрениями людей прошлого и с неадекватными представлениями о том, что произошло» [Там же, 106], поэтому американский историк определяет «источник» как преднамеренное свидетельство. След же лишен этой примеси, он, как непреднамеренное свидетельство, изолирован «от осознанных или бессознательных желаний людей помнить и свидетельствовать каким-то особым способом» [Там же].

Реконструкция позиции Мегилла требует остановиться на содержании понятия «историческая память». Несмотря на то что это понятие основательно вошло в социально-философский и политический дискурс во второй половине XX в., можно обнаружить достаточно много неопределенностей и разногласий, связанных с его содержанием и употреблением. С одной стороны, это понятие широко используется как в повседневном, так и в научном и политическом языке, с другой стороны, в социально-философском дискурсе присутствует скептическое отношение к его употреблению. Отдельные исследователи объявляют это понятие метафорой, фикцией, бессмысленной

конструкцией, поэтому становится актуальным ответ на вопрос о содержании и границах этого понятия в концепции Мегилла, что, в свою очередь, позволит понять, почему этот исследователь пришел к выводу о том, что связь истории и памяти на сегодняшний день выглядит весьма проблематичной.

С точки зрения американского историка, в основании исторической памяти лежит опыт участников и свидетелей событий, который восстановлен и преобразован ими в нарратив. Без опыта времени человек не смог бы располагать события в их последовательности и отличать прошлое как ушедшее от настоящего и будущего. Однако Мегилл считает, что «задача историка в меньшей степени должна заключаться в сохранении памяти, чем в ее преодолении или, по крайней мере, в ее ограничении» [Мегилл 2005, 161]. Затруднение состоит в том, что память — это не простое воспроизведение прошлого пережитого опыта, а сложная конструкция, которая содержит в себе как элементы подлинного знания, так и ошибки и бессознательные искажения. «Память так же много сообщает нам о сознании того, кто вспоминает исторические события в настоящем, как и о самом прошлом. Память есть образ прошлого, субъективно сконструированный в настоящем» [Нора, 158]. Таким образом, историк, работающий с памятью, на самом деле имеет дело не только с повествованием о событии, но и с феноменами сознания и бессознательного. Именно поэтому он не может не учитывать того, что работа сознания-воспоминания аккомпанируется субъективным опытом переживания прошлого в настоящем, а повествование включает в себя, кроме логической структуры текста, еще и эмоциональную и ассоциативную структуры, которые взаимно дополняют друг друга.

Работа памяти — это не пассивный процесс восстановления пережитого индивидом или социальной группой опыта, а активная реконструкция события прошлого, в котором тесно переплетается реально пережитое с дистанцированной во времени эмоциональной оценкой события с позиции настоящего. Не менее важно учитывать и то обстоятельство, что воспоминания подвержены процессу искажения. Этот процесс протекает по-разному, в зависимости от того, о каких воспоминаниях

(индивидуальных или коллективных) идет речь. Обращаясь к содержанию памяти, историк имеет дело с другим типом знания. Память содержит два пласта: то, что событие произошло, и то, как оно было непосредственно пережито и закреплено в опыте, воспринято референтом и, наконец, артикулировано. Таким образом, изучая содержание исторической памяти, историк работает не с фактами, а с образами, обнаруживаемыми в сознании референта памяти. Работа с таким видом объектов требует от историка учитывать, что это субъективная, фрагментарная и иррациональная реальность, изучение которой должно пройти оценку критическим мышлением. Таким образом, А. Мегилл приходит к выводу о том, что «...без независимого подтверждения память не может служить надежным маркером исторического прошлого» [Нора, 158–159].

Мыслитель утверждает, что особенностью исторической памяти является отсутствие рефлексии и критической оценки события, то есть метапозиции. Память не может быть своим «собственным критическим тестом» [Там же, 148], поэтому воспоминания могут вступать между собой в противоречивые отношения. Память — это всегда субъективная реальность, конституированная групповыми или личностными ценностями и интересами. В отличие от памяти история, утвердившись в качестве научного знания, стремится к универсальности и объективности, сближаясь с метаперспективой. Задача историка — подвергнуть сомнению и проверке любое свидетельство, полученное в процессе исследования. При этом появляющиеся противоречия и конфликты свидетельств являются естественной ситуацией в работе историка, тогда как на уровне памяти конфликт воспоминаний не может быть признан.

Кроме того, необходимо учитывать то обстоятельство, что память, с которой имели дело историки в древности, и память, с которой имеют дело историки постмодерна, это разные виды памяти. В чем же заключается это различие? Какие изменения произошли в исторической науке, которые привели к трансформации ее отношения к памяти?

Знаковым изменением, произошедшим в историко-философском дискурсе XX столетия, является тот факт, что историческая память

начинает рассматриваться как объект, приобретающий статус самостоятельной ценности. Для современного историка это уже не просто способ получения и хранения информации о прошлом. В социуме начинается сложный и неоднозначный процесс сакрализации памяти. В историографии второй половины XX в. произошел так называемый «мемориальный поворот», в результате которого перед историками встал вопрос об изучении массовых обыденных представлений о прошлом, то есть вопрос об изучении коллективной и автобиографической исторической памяти. «Озабоченность проблемой памяти как объектом ценности, а на самом деле как объектом почитания, появилась в недавнем прошлом как ответ на события, которые мы теперь называем Холокостом или Шоах. Озабоченность памятью возникла в этом контексте вслед за пониманием того, что в недалеком будущем все выжившие в Холокосте будут мертвы...» [Нора, 135].

Тема памяти была подхвачена не только профессиональными историками, но и журналистами и режиссерами. Благодаря их совместным усилиям начинают создаваться аудио- и видеоархивы, фиксирующие воспоминания жертв массовых катастроф XX в. В результате запускается процесс сакрализации особенно травматичных событий, а одновременно с ними сакрализации свидетельств выживших жертв.

Задача исторической науки заключается в том, что, работая с воспоминаниями, историк фиксирует их и помещает в архив. Архивизация свидетельств освобождает воспоминания от налета святости. В связи с этим появляется сложная для исторической науки альтернатива — историзации или сакрализации событий и свидетельств их участников. В процессах сакрализации памяти пытаются разобраться не только Мегилл. Эта тема проходит красной нитью в работах французского историка Пьера Нора. Как с точки зрения этих мыслителей происходит сакрализация памяти и в чем опасность этого процесса для общества?

С позиции Мегилла сакрализация памяти, то есть придание ей священного статуса, осуществляется двумя возможными способами. Во-первых, в процессе сбора свидетельств о недавних исторических событиях подчеркивается и преувеличивается ценность

воспоминаний участников и жертв «самих по себе», но упускаются из виду точность и достоверность их воспоминаний. Во-вторых, запускается процесс преувеличения ценности нашего знания об этих воспоминаниях, несмотря на то, что данное знание не может рассматриваться как лишенное эмоциональной окраски и объективное. Кроме того, это знание само по себе является формой памяти.

Работа коллективной исторической памяти связана с тем, что она отбирает из череды исторических событий самое ценное, то, что вызывает всеобщее уважение и почитание. Память выдвигает требование по сохранению этих воспоминаний как наиболее ценных с позиции настоящего. Тем самым коллективная память канонизирует определенную традицию, фиксируя ее в виде канона священных текстов или ритуальных действий. Работа памяти скорее напоминает религиозное действие, так как сакрализирует образы, помещая их в священное. Таким образом, в исторической науке начинает меняться тип сбора информации.

В чем, с точки зрения А. Мегилла, заключается опасность процесса сакрализации памяти? Американский историк считает: то, что свято, не может быть поставлено под вопрос. «Святость того, что исследуется, оправдывает массив собранных доказательств. Кроме того, сакральный характер доказательств обесмысливает их как свидетельства» [Нора, 137]. Кроме того, речевые практики ошибочно рассматривать как пассивные свидетельства, поскольку за ними могут скрываться различные стратегии: самооправдания, политического сопротивления, вины и т. д. Процесс сакрализации памяти лишает историческую науку критической позиции. Еще более опасно то, что этот процесс содержит в себе возможность мифологизации воспоминаний событий и героев. Часто воспоминания жертв используют как доказательства преступлений, однако они весьма ненадежны. Они содержат погрешности, со временем изменяются и, чем дальше их носители отдаляются по времени от произошедших событий, тем больше они испытывают воздействие того, что они слышали или читали об этом позже, а это с неизбежностью приводит к искажению их воспоминаний. «Если мы придаем памяти абсолютную ценность, то мы открываем дверь опасной идее пытаться

использовать неизбежные ошибки в воспоминаниях и тем самым полностью дискредитировать то, что говорят вспоминающие» [Мегилл 2005, 144].

Работая со свидетельством, в надежде прикоснуться к исторической реальности, которая существенно отличается от сегодняшней, историк создает воображаемую конструкцию или реконструкцию события. Мегилл считает показания свидетелей и очевидцев недавних событий, которыми располагают современные историки, избыточным материалом, который «далеко выходит за рамки того, что необходимо историкам для реконструкции событий прошлого» [Мегилл 2007, 94]. Кроме того, сами свидетельства могут вызывать недоверие со стороны историков. Основанием для недоверия являются несколько причин. Во-первых, свидетельства далеко не всегда дают объективное и релевантное понимание того, что случилось на самом деле. В случае если свидетельство содержит информацию о травматических событиях, то воспоминание содержит как эмоциональную окраску, так и преувеличение пережитых страданий. Во-вторых, если свидетельства были собраны спустя десятилетия, после события, они не могут не содержать погрешностей и искажений. Воспоминания в ходе многократного повторения трансформировались или частично исчезли и были дополнены теми обстоятельствами, которых не было в реальности. В-третьих, в воспоминаниях, реконструированных спустя десятилетия, происходит смешение собственного пережитого опыта со знаниями, полученными из других источников. Сам свидетель уже не в состоянии отличить одно от другого. «Люди не бывают способны заметить разницу между тем, что они действительно видели, и тем, о чем они только слышали. Они иногда вкладывают в то, что считают своими собственными воспоминаниями, ту информацию, которая стала доступной им позднее» [Там же, 95].

Французский философ Пьер Нора выстраивает несколько отличную от Мегилла логику. Его волнует исчезновение живой коллективной памяти, которое он объясняет нарастающим процессом деретуализации. Отправление ритуалов, которые поддерживали существование коллективной памяти в традиционном обществе, уходит в прошлое, тем самым превращая

память в историю. Поддержание памяти теряет связь с социальными действиями групп, которые в повседневной жизни переживались как замкнутое религиозное повторение того, что было всегда. «Как только появляется след, дистанция, медиация — мы больше не в истинной памяти, но в истории» [Нора, 19]. Нора приходит к выводу, что память и история противостоят друг другу и не могут рассматриваться как синонимы. Однако это утверждение описывает взаимоотношения памяти и истории только в определенном периоде, поэтому Нора стоит перед необходимостью аргументировать эту оппозиционность. Память и история осуществляют работу с воспоминаниями. Принципиальное отличие в работе памяти заключается в том, что она «помещает воспоминание в священное, история его оттуда изгоняет, делая его прозаическим» [Там же, 20].

Коллективные образы исторической памяти содержат в себе потенциальную возможность перехода в религиозный дискурс. Эти образы часто составляют фундамент мировоззрения и не являются отрефлексируемыми. Нора называет это памятью, «неосознающей самое себя» [Там же, 19]. Исторический миф, созданный коллективной памятью, является символическим выражением определенных ценностных установок, которые определяют представление социальной группы о самой себе. Исторические мифы связаны с ритуалами, то есть с коллективными формами поведения. Они определяют стратегии поведения социальных групп и являются формами существования ценностей.

Таким образом, память и историография в равной степени имеют дело с воспоминаниями. Однако память, в отличие от истории, отбирает их, придает им абсолютную ценность и не подвергает критике. В случае если историческая наука центрирована на памяти как на ценности, она становится аффирмативной, то есть ориентированной на превознесение и утверждение вполне определенной традиции или социальной группы, чью историю и опыт она изучает. Мегилл просит обратить внимание на то, что неправильно и нечестно выдавать такую деятельность историка за упражнение в благочестии. «...Производители и потребители истории должны осознавать, что познавательная ценность (или отсутствие ценности)

такого воспоминания — вопрос, который совсем не зависит от эмоционального и экзистенциального воздействия, которое это воспоминание может оказывать на нас» [Мегилл 2007, 98–99]. «Аффирмативная историография подчиняет прошлое тем проектам, которыми люди заняты в настоящем. У нее отсутствует критическая позиция по отношению к воспоминаниям, которые она собирает, и к традиции, которую она поддерживает» [Там же, 99]. Такая историография склоняется к тенденции мифологизации воспоминаний.

Важно подчеркнуть тот факт, что современные тенденции, связанные, с одной стороны, с мемориальными практиками, с другой — с формированием идеологических конструктов, в которых память доминирует над историей, вызывают опасения и тревогу у научного и философского сообщества. Профессиональные историки неоднократно обращали внимание на то, что государство и СМИ провоцируют ситуации «нарушения режима доверия» исторической науке и историкам, когда очевидцам и участникам событий верят больше, чем историкам, которые стремятся сформировать объективную и критическую точку зрения на события прошлого. Кроме того, вызывают опасения дихотомии «история/идеология», «история/память», существование которых в современном дискурсе латентно указывает на снижение ценности критической инстанции в мемориальных практиках, во многом противостоящей эмоциональному характеру требований, связанных с исторической памятью социальных групп и национальных меньшинств. В сообщениях СМИ и повседневной практике сегодня можно наблюдать за негативной, теневой стороной мемориальной революции, которая проявляет себя в «войнах памяти», начиная от «войны памятников и захоронений» и заканчивая серьезными этнополитическими конфликтами. Коллективные воспоминания о своем прошлом, с одной стороны, жизненно необходимы для сохранения единства нации, с другой — содержат в себе потенциальную опасность по созданию агрессивных мифов, которые провоцируют межгосударственные и межнациональные конфликты и насилие. Как мы видим, тема исторической памяти порождает множество вопросов, которые попадают в поле философского осмысления.

Исследование феномена исторической памяти имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Необходимо учитывать, что национальная память сохраняет воспоминания не только о триумфальных победах и тяжелых поражениях, но и о событиях, которые вызывают чувство коллективной вины и позора нации. И те и другие в равной степени могут формировать представление нации о самой себе, укреплять или разъединять национальную сплоченность. Особенностью мемориальных конструктов исторической памяти, закрепляющих преимущественно свои победы и исключительно поражения соседей, является способность продлевать исторические конфликты за пределы своего времени. Знание о том, каким образом изменения политических условий может вызвать периоды политической нестабильности, позволяет прогнозировать события и влиять на них.

Таким образом, Мегилл приходит к выводу о том, что история не может быть идентифицирована с тем, что называют «памятью», то есть с рассказом свидетелей и очевидцев, в котором каждый раз реконструируются события, оставившие след в их памяти. При этом история не может себе позволить исключить память из своего поля. Как это ни парадоксально, история должна быть и рассказом, и памятью. Историк, стремящийся правдиво реконструировать прошлое, должен сообщать о противоречивых свидетельствах и оценках очевидцев и участников событий, но при этом оставлять в тени свои собственные взгляды. Правдивая история — это неоднозначная история. Американский историк настаивает на том, что «...потенциально очень опасно рассматривать память в качестве источника исторических фактов» [Мегилл 2007, 105], потому что:

- воспоминания отмечены погрешностями;
- воспоминания меняются со временем;
- при воспоминаниях наблюдается тенденция смешения информации о действительно пережитом опыте с тем, что человек узнал после самого события;
- использование воспоминаний как абсолютной ценности может привести к дискредитации того, что говорят вспоминающие.

Предостерегающая об опасности сакрализации памяти позиция Мегилла не является

бесспорной и вступает в диалог с другими известными теоретиками исторической памяти, такими как П. Нора, А. Ассман, Б. Гизен, Х. Вельцер, Д. Олик и др. Реконструкция позиции американского историка высвечивает целый спектр актуальных и противоречивых для сегодняшнего дня вопросов. Если память более не может сохранять позиции достоверного источника исторического знания, а набирающий обороты процесс сакрализации памяти содержит опасность мифологизации воспоминаний событий и героев, какую позицию должен занять профессиональный историк по отношению к исторической памяти? Не может ли преувеличение опасности от этого процесса привести к десакрализации и отказу в доверии исторической памяти, которое содержит в себе не меньшее количество угроз? И главное, не приведет ли настороженное отношение профессиональной историографии к изучению следов исторической памяти к серьезным упущениям? Хотелось бы обратить внимание на то, что Мегилл упускает из виду не менее важный вопрос: историческая наука, сколь бы она ни стремилась к объективности, никогда не сможет достичь этого идеала и сама является источником для мифологизации событий и героев, в которой так упорно Мегилл обвиняет историческую память, при этом пренебрегая тем, что коллективная историческая память в качестве уникального феномена содержит в себе механизмы сопротивления попыткам внедрить и закрепить на уровне коллективного сознания определенные идеологии.

Содержание исторической памяти может не совпадать с официальной исторической версией. Кроме того, фактичность исторической науки омертвляет любое событие, исключая из него живое, пусть и противоречивое, свидетельство. Погружение в живой рассказ очевидцев и участников события раскрывает для следующих поколений опыт, который сохраняется на уровне генетической памяти. Соприкосновение с живой исторической памятью втягивает следующие поколения в соучастие и сопереживание события, отстоящего во времени, которое не может дать чтение учебников и книг. Между живым настоящим нынешних поколений и завершенным прошлым тех, чей век подходит к концу, пролегает

хрупкая и расплывчатая теневая полоса коллективной исторической памяти. Исчезновение настоящего происходит незаметно для живущих, приводя к забвению и омертвлению совсем недавних и значимых для сохранения идентичности нации событий. Для того чтобы сохранить уникальность, историческая наука будет вынуждена поддерживать многоголосность, сложность и противоречивую спорность своего содержания. Различные, исключаящие друг друга точки зрения сосуществуют в ней и не складываются в единую историю именно благодаря исторической памяти. Индивидуальные и коллективные воспоминания, семейные хроники и архивы приобретают статус аргументов для существования альтернативной истории. А это значит, что историческая наука

перманентно содержит в себе конфликты, разрешение которых порой невозможно на протяжении многих лет ожесточенных споров между историками.

История как наука представляет собой особую систему работы с историческими источниками и документами. В своем стремлении к объективности и беспристрастности история противостоит всем видам памяти. Миссия коллективной исторической памяти по отношению к историографии заключается в том, что память обогащает историю ценностными ориентирами, высвечивает наиболее значимые для коллективного сознания события прошлого, история же призвана скорректировать комплекс имеющихся воспоминаний, критически отразить их.

Список источников

- Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. М. : Новое лит. обозрение, 2014. 328 с.
- Мегилл А. Историческая эпистемология. М. : Канон+РООИ Реабилитация, 2007. 480 с.
- Мегилл А. Философия и общество // Философия и общество. 2005. Вып. 2 (39). URL: <https://www.socionauki.ru/journal/articles/126767/> (дата обращения: 12.05.2021).
- Нора П. Всемирное торжество памяти. URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/nora22.html> / (дата обращения: 12.05.2021).

References

- Assman, A. (2014). *Dlinnaya ten' proshlogo: Memorial'naya kul'tura i istoricheskaya politika* [The Long Shadow of the Past: Memorial Culture and Historical Politics]. M.: Novoe literaturnoe obozrenie. 328 s.
- Megill, A. (2005). *Filosofiya i obshchestvo* [Philosophy and Society]. *Filosofiya i obshchestvo*, 2(39). URL: <https://www.socionauki.ru/journal/articles/126767/> (accessed: 12.05.2021).
- Megill, A. (2007). *Istoricheskaya epistemologiya* [Historical epistemology]. M.: Kanon+ROOI Reabilitatsiya. 480 s.
- Nora, P. *Vsemirnoe torzhestvo pamyati* [World Celebration of Memory]. URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/nora22.html> / (accessed: 12.05.2021).

Сведения об авторе

Корнющенко-Ермолаева Наталия Сергеевна, старший преподаватель Томского университета систем управления и радиоэлектроники, Томск, Россия

Information about the author

Nataliya S. Kornyushchenko-Ermolaeva, Senior Lecturer, Tomsk University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russia

Статья поступила в редакцию 15.12.2021;
одобрена после рецензирования 25.12.2021;
принята к публикации 30.12.2021

The article was submitted 15.12.2021;
approved after reviewing 25.12.2021;
accepted for publication 30.12.2021

Научное издание

TEMPUS ET MEMORIA

2022. Т. 3. № 1

Редактор и корректор
Компьютерная верстка

Т. А. Федорова
Л. А. Хухаревой

Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-79281 от 02 октября 2020 г.
Учредитель — Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19.

Дата выхода в свет 15.11.2022. Формат 64 × 84 1/8. Гарнитура Charter.
Уч.-изд. л. 6,64. Объем данных 1,1 Мб.

Издательство Уральского университета
620000, Екатеринбург-83, ул. Тургенева, 4.
Тел.: +7 (343) 350-56-64, 358-93-22
Факс +7 (343) 358-93-06
E-mail: press-urfu@mail.ru
<http://print.urfu.ru>

Данное электронное сетевое издание размещено в электронном архиве УрФУ:
<http://elar.urfu.ru>